

Жданов Л.



ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ

ДИЛОГИЯ. ТОМ 2: ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Лев Жданов

**Царь Иоанн Грозный.
Дилогия. Т. 2: Грозное время**

«Алгоритм»

1916

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

Жданов Л. Г.

Царь Иоанн Грозный. Дилогия. Т. 2: Грозное время /
Л. Г. Жданов — «Алгоритм», 1916 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-02774-1

Лев Григорьевич Жданов (настоящие имя и фамилия Леон Германович Гельман; 1864–1951), российский исторический писатель; был также известен как поэт и драматург. На рубеже XIX и XX веков среди исторических романистов, пожалуй, не было имени более популярного, чем Лев Жданов. Он автор целого ряда романов и повестей, посвященных, как правило, малоизвестным страницам истории России. В этом издании представлена дилогия «Царь Иоанн Грозный», описывающая жизнь и деяния великого князя московского и «всея Руси», первого русского царя (с 1537) из династии Рюриковичей – Ивана IV, и эпоху, связанную с его царствованием. Во второй том вошел роман «Грозное время», посвященный самым кровавым страницам русской истории – последним годам правления Ивана Грозного. В нем интересно и ярко выписано всё – от основной исторической фабулы до бытовых подробностей, позволяющих ощутить атмосферу того времени.

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-02774-1

© Жданов Л. Г., 1916
© Алгоритм, 1916

Содержание

От автора	6
Часть I. Царь Грозный и царек Симеон	8
Глава I. Годы 7060–7061 (1552–1553)	8
Глава II. Год 7061(1553)	42
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Лев Жданов
Царь Иоанн Грозный.
Диалогия. Т. 2: Грозное время

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009

© ООО «РИЦ Литература», 2009

* * *

От автора

Иван Грозный – вот имя того нового Герострата на троне, который, словно умышленно, сжег все доброе и светлое, все человеческое в собственной душе, испепеляя вместе с тем целые города, свои и вражеские, сжигая на кострах груды человеческих тел в таком числе, что только былая инквизиция католическая может поспорить размерами религиозных своих гекатомб с дерзаниями автократа московского, великого князя и царя всея Руси!

Рати Ивана рубили и жгли, проходили грозою не только по вражеской, но и по родной земле. Новгород Великий и старый, вольный Псков до сих пор помнят приходы Иоанна IV. Воины и палачи царя проливали не только кровь неприятеля – убивали стариков, женищин... Детей нерожденных в утробе матери губили по приказу бесчеловечного царя его опричники. Дикий грабеж, растление девишек, детей, самое возмутительное насилие над женищинами – казалось обычным делом в дни Грозного царя.

Если таким образом – лезвием топора, факелом поджигателя – хотел Иван врезать и вжечь свое имя в вечной скрижали истории, – он добился своего. Нет угла на земле, где не знают этого страшного имени, где не реет облик «сыроядца» – как звали его уже при жизни на Руси. Он наполнял своей ужасной славой мир, пока жил. Прошло 330 лет после смерти его, и в целом мире, где только горит пытливая, обладающая знанием человеческая мысль, – там поминают Ивана Грозного... не добром, конечно!..

Но за морем пламени, за чадом горелых человеческих тел и за потоками крови, пролитой невинно, по прихоти полубезумного самовластника, – за этой завесой словно потонули, скрылись во тьме и другие стороны больной, изломанной, но, несомненно, богато одаренной от рождения души этого мудрого прозорливца, государственного строителя и деятеля, равного по замыслам своему гениальному правнуку, Великому Петру. Исчезли куда-то первые, светлые годы царенья Иоанна IV, почти 14 лет, когда его звали Иваном Боголюбивым, а не «царем-опричником», как прозвали потом!

После трех с лишним веков настало, я думаю, время дать цельный образ этого властителя-самодержца, полугения, полужверя.

Первая, светлая половина правления Иоанна изображена мною в романе-хронике, вышедшем перед этим под заглавием «Третий Рим», потому что под этим именно знаком народилась самодержавная власть царей московских на Руси, переданная от деда и отца – внуку, Иоанну IV. Под знаком мировой державы и защиты всего христианского мира от мусульманской силы; под сенью купола Святой Софии, манившей издавна к себе славянских царей Севера Европы, желающих стать императорами Византийскими и всея Руси, – под такими заветами взлелеяна была власть государей, последних Рюриковичей. И первые, светлые годы царенья Ивана до взятия Казани включительно пронизаны именно идеей стремления к «христианскому возобладанию славянского племени на целом Востоке и Севере Европы». И только потом, став Иоанном Грозным, кровопийцей, страшным изуменом Александровской слободы, – если не забыл, то отложил Иоанн Четвертый Боголюбивый широкие, гордые планы светлой юности...

«Третий Рим» и кончается на днях взятия Казани, на этих лучших страницах русской истории XVI века.

В настоящем романе-хронике дальше разворачивается свиток жизни царя Иоанна. Печальная хартия, где каждая строка рдеет кровью, отравлена запахом тления, запятнана гноем разврата и падения могучей, большой человеческой души.

Но и эти страницы старался я чертить с возможным равновесием духа, не позволяя своей возмущенной человеческой душе подсказывать беспристрастному уму слишком скорые и жесткие слова бесповоротного обвинения.

Так я старался. Но «еже писах – писах»... То написано. Отдаю теперь людскому вниманию мой труд. Жду приговора над ним.

Лев Жданов

Часть I. Царь Грозный и царек Симеон

Глава I. Годы 7060–7061 (1552–1553)

11 октября – 23 июня

Взятие Казани, покорение царства Казанского!..

Больше трех веков тому назад юный царь Иоанн IV, прозванный в народе Боголюбивым за свою набожность, – выполнил, наконец, задачу, завещанную 26-летнему царю его отцом, и дедом, и прадедом: взять юрт Казанский, овладеть ключом, открывающим путь к Волге-реке, простор которой был необходим для Московского царства, еще юного, неокрепшего, но растущего не по дням, а по часам, подобно богатырям старорусских былин.

И сейчас еще в народе не умерли отзвуки этого события, звучат отрывки песен о «Казанском славном взятии»... о «царе Иване Василиче, покорителе Казани», который в октябре 1552 года овладел «юртом неверных татар Казанских».

И невольно отголосками былой гордости и восторга наполняется грудь старика-крестьянина, поющего «сказание», и грудь мыслящего, культурного сына великой народной семьи все-русской, когда он пробегает взором строки старинной песни, созданной так давно, но оживленной снова станками скоропечатных машин.

Можно легко представить, какой восторг и живую радость испытывал сам царь, когда, после долгой осады и кровопролитных боев, вслед за последней резней – пала твердыня мусульманская, стоящая помехой на пути для целой Руси, и сдался в полон последний царь Казанский.

Что переживало войско московское, целую осень зябнувшее в грязи, под дождем!.. Какое ликование началось здесь, когда рати вступили в богатый, большой, хотя и полуразоренный осадой город и уснули на мягких постелях, вместо мокрой соломы, брошенной в грязи, в сырых, намокших от непогоды шатрах военного лагеря... Еще больше ликовал, веселился шумнее народ московский, вся земля Русская, когда дошли сюда первые вести о взятии Казани, опережая торжественное шествие победителя-царя, возвращающегося домой, к своему престольному граду Москве, к жене любимой, к первенцу-сыну, рожденному царицей Анастасией совсем недавно, пока царь еще воевал с врагами.

Всюду народ ликованием и громкими приветами встречал победителя-царя. Путь ему, как библейским вождям, устилали одеждами, целовали край его одежд, стремена его коня. На Москве – митрополит, духовенство, цари иноземные, бояре и князья, а главное – весь народ, собравшийся к радостному дню встречи издали, – сотни тысяч людей, море людских голов пало ниц, склонилось перед юным вождем земли, восклицая:

– Здрав буди на многие лета царь Иван Боголюбивый! Да живет покоритель юрта Казанского... освободитель рабов христианских из плена агарянского!

От восторга замирала душа честолюбивого юного царя, сжималось радостно и сладко сердце. Казалось ему, что не наяву, а во сне видит он сказку волшебную, о которой грезил немало дней.

И постарался царь, чем мог, отплатить со своей стороны народу, духовенству и ратным людям с их начальниками за любовь и службу верную.

Три дня длился пир, устроенный царем для знати и для народа. Не в одной Москве – и по другим городам столы всенародные были устроены, бочки с напитками выставлены для люда простого.

Не считая поместий и вотчин, коней, нарядов дорогих и шуб с царского плеча, розданных окружающим, – одно угощение обошлось казне царской почти что в миллион рублей на наши деньги. А если помнить, что пуд говядины стоил 20 копеек, что хлеб стоял в такой же малой цене, – можно себе представить, как щедро угощал землю ее державный хозяин на радостях победы, на двойной радости от рождения первенца, царевича Дмитрия.

Но слишком велика была удача царя Ивана и всей земли его, чтобы завистливый Рок не постарался омрачить веселых дней. Радость победы, купленной потоками своей и вражеской крови, замутилась очень скоро.

Еще не отпировали шумных пиров, только успел съездить Иван с царицей и царевичем Дмитрием к Сергию Преподобному, в Троицкую лавру, где у мощей святителя в Троицком соборе архиепископ Ростовский Никандр крестил княжича, как уже появились первые тучи – и со стороны вновь завоеванного царства Казанского, и от соседнего Новгорода Великого, и от Пскова.

В новом владении, с таким трудом завоеванном, в царстве Казанском, там голод настал, неизбежное последствие войны. А бояре, ставленники московские, не заботились о земле, о людях, старались только нажиться поскорей да побольше. Кочевники, горцы, луговые и приречные черемисы, чуваша и вотяки – все возмутились против христианского ига, чуждого им по духу, невыносимого по бессердечию представителей новой власти. Стычки пошли, и часто терпели урон русские.

А в Новгородской и Псковской земле чума жестокая сразу появилась, словно вспыхнула, и широко, пожаром разлилась кругом.

Вместе с добычей военной, с шелками, нарядами и сосудами дорогими, награбленными у казанцев, занесли ужасную гостью домой из Казани новгородские и псковские ратники, не брезговавшие достоянием мертвых, снимавшие дорогие уборы с казанцев, павших от болезней, с зачумленных трупов, которые валялись на площадях и на улицах покоренного города.

Первые оставили новгородцы бой, первые кинулись на грабеж, хватая, что на глаза попадется. И на них обрушилась всею силою «кара Господня». Откуда началась болезнь, трудно было решить. Толковали, что один новгородец, Пинай Потяков, ворвался в главную мечеть, на ступенях которой убит был Шериф-мулла, нашел там ящик небольшой, печатями многими запечатанный. Так его Пинай и в лагерь уволок, домой привез, не раскрывая. А дома стал разбирать всю груды добычи привезенную и между мехами нашел забытый ящик. Вскрыл печати, поднял крышку – там нашел шаль кашмирскую тонкую, чудными узорами затканную, да две рубахи шелковые, мужские, золотом шитые.

Шаль он жене отдал, одну рубаху сам в праздник надел, другую брату своему крестовому подарил, Голубу Третьяку, человеку торговому, богатому. И первыми жертвами чумы пали эти две семьи, в неделю вымершие до последнего человека, со всеми чадами и домочадцами. А там дальше да больше... И в Пскове мор открылся. Ни одного дома, ни единой семьи не было, где чума не унесла одной-двух жертв.

В три месяца до пятисот человек вымерло в обеих соседних областях. Да и в других местах, несмотря на заставы и карантинные суровые, много погибло народу, особенно бедняков, которые зимой и осенью в грязи, в сырых, холодных избах курных ютятся.

Настали крещенские морозы, воздух очистился, суше стал. Тогда и мор начал уменьшаться; но успел оставить за собой целый лес преждевременных могильных крестов по всему государству Московскому.

Много помогло народу живое участие, оказанное царем в этой беде. Он приказал по монастырям кормить и лечить хворый люд. Шестого декабря, в Николин день, было устроено торжественное поднятие мощей св. Николая с водосвятием, и потом вода святая была разослана в наиболее пораженные чумой места для раздачи народу. Вера и подъем духа давали

силы людям бороться с болезнью, которая особенно легко передается слабеющему телу, если душа подавлена и тоскует...

Мор стал ослабевать. Иван вздохнул спокойнее. Макарий, зная любовь Ивана ко всяким церковным блестящим церемониям, приготовил ему два удовольствия, одно за другим.

Восьмого января 1553 г. бывший казанский царь, мальчик Утемиш-Гирей, сын Сафа-Гирея, был крещен Макарием в Чудовом монастыре в присутствии Ивана. Савва, игумен Крутицкого подворья, явился восприемником крещеного татарчука, который получил имя царя Александра Казанского и принят был Иваном в число самых приближенных к нему юношей, детей первых бояр и князей московских.

Сумел повлиять митрополит и на Эддин-Гирея, последнего хана грозной татарской орды. На выбор было предоставлено этому не очень отважному и твердому волей царевичу: лишиться жизни, чтобы не осталось у казанцев надежды вернуть себе мусульманского владыку, или принять веру христианскую и таким образом умереть для мусульман. В награду за крещение юноше были обещаны великая милость, дары царские и почесть до конца дней.

Эддин-Гирей не родился, чтобы стать мучеником.

Он «добил челом» Ивану, чтобы дозволено было ему принять христианство, согласно «искреннему желанию и глубокой вере» этого так быстро обращенного татарского вождя. Для исполнения обычая несколько дней ходили попы и монахи к Эддин-Гирею и допытывались:

– Не от нужды ли, не страха ли ради хочешь познать закон веры Христовой?

– Нет! – твердо отвечал испытываемый. – Клянусь бородой Пророка, по всей правде-истине, с любовью готов и хочу принять закон Христа, а Магомета, бессильного и лживого, как я увидел после поражения моего, и скверный закон мусульманский отрицаю и проклятью предаю. Не спасли они меня... Ваш Бог победил... Он, значит, есть Бог Всесильный, Бог Истинный!

26 февраля, на второй неделе поста, день выдался весенний почти, теплый, хотя и пасмурный. Чуть светать стало – близ тайника в стене Кремлевской, который вел к самой Москвереке, совершилось крещение бывшего хана Эддин-Гирей-Магома-Хозроя. Царь с братьями своими, Макарий, двор царский, причт кремлевских соборов и церквей – все присутствовали при торжестве. Обряд крещения совершал Савва Крутицкий, а восприемником был Макарий, и дал он своему сыну-восприемнику имя Симеона, по отцу – Касаевича.

Вместо топора и петли – новообращенный, как лицо приближенное к царю, получил богатое жилище в самом Кремле, много добра, денег, земель с деревнями и даже целый двор наподобие царского, с боярином Иваном Заболоцким во главе.

Кроме этих двух – еще несколько татарских царевичей и царей своим присутствием способствовали блеску московского двора. Ших-Алей, правивший Касимовом, редко и жил там, все больше сидел в Москве. Каз-Булату-Тохтамышу город Юрьев был дан на кормление; Дербыш-Алей, претендент на ханство Астраханское, жил в Звенигороде. Бек-Булату с Саином – Сурожик-град был дан пока.

– Пусть знают и в чужих землях, как московский царь врагов умеет щадить и миловать! – сказал Иван царице Анастасии, когда у той вырвался крик изумления, и даже руками всплеснула при рассказе мужа, во что обошелся ему новый приближенный, бывший хан Казанский Эддин-Гирей-Магмет.

– Ну, твое дело, милый ты мой... – шепнула Анастасия, крепко обнимая мужа и любуясь гордым блеском, каким загорелись сейчас оживленные глаза ее красавца-мужа.

– Да и не пропащие это денежки! – улыбаясь, добавил царь, помолчал. – Узнают другие князьки неверные, как мы ихнего брата награждаем, валом повалят. Еще больше от них корысти будет Москве. Вот теперь, после Казани, пора за Астрахань приниматься. Наша та земля, исконная... Еще прадед мой, Мстислав, умираючи, ту землю Тмутараканскую, как звалась она в ту пору, своим отказывал. А как раз оно и время нам пришло хорошее: смута большая в орде в тамошней. Гляди, не теперь, так на тот год – станешь царицей Астраханской.

Анастасия, не дослушав, даже руками замахала:

– Что ты, государь?! Снова война? Сызнова поедешь на муку и на бой смертный? Да ни за что! Да не пушу и не пушу. Вот повисну так – и не оторвут меня!..

И царица показала, как она делает, чтобы не отпустить мужа.

Иван, смеясь, с поцелуями стал отрывать ее руки от своей груди.

– С тобой поеду... Так на коня тебя втащу – и увезу!

– А Митя с кем наш останется?

– Мамок у него, что ли, мало?

– Нет, не шути... – со слезами уж заговорила царица. – Неужто сызнова воевать собираешься?

– Нет, успокойся... Там дело не казанское, дело маленькое – и воеводы мои поуправятся. А хоть бы и пришлось мне воевать с кем из недругов царства нашего, ежели бы и жизни я решился в бою, не пропадет земля: сын на мое место останется, наследник мой, гордость моя... Здоров ли мальчуга? Здоров ли Митенька? Что не видать его?

– Пойдем, погляди на дитя!.. – предложила княгиня. – Да потише: уснул младенец, спит, душа ангельская.

И оба они потихоньку перешли в соседнюю горницу, где под надзором нянек тихо спал малютка Димитрий.

Разговор этот происходил день спустя после крещения Эддина. Простудился ли там Иван, разгоряченным выйдя из двора к реке, где было сыро и холодно, иное ли что подкосило мощное здоровье царя, но он стал недомогать, прихварывать с этого самого утра. Ни баня горячая, первое средство против всяких недугов у людей того времени, ни питье разное и натиранья, проделанные самой царицей, – ничто не помогало. Недуг быстро овладевал Иваном, и он свалился совсем.

Печальна служба Великим постом в храмах московских... Заунывны напевы псалмов и гимнов покаянных... А во дворце совсем как в могиле. И говорят вполголоса, и ходят – не всей ногой ступают, чтобы лишним шумом не беспокоить больного царя.

Долго тянется его болезнь. Тяжелая, упорная она. Огнем так и пышет больное тело, все – сыпью покрыто темною.

Думали сначала: не чума ли то новгородская приспела? Нет, не такие знаки. И жар силен у царя, неделями держится. Часто в беспамятство впадает больной, бредит осадой казанской, старой изменой боярской, вспоминая годы своего детства. И все сына да жену зовет:

– Настя, Митя!.. Не дайте меня в обиду... Отстойте от врагов: живым жечь хотят... На лютом огне мое тело палят!..

Но лекаря, из чужих земель пришельцы, живущие в Москве, и свои, русские, монахи – знающие люди, в лечение и зельях лекарственных сведущие, не велят никого пускать к царю, чтобы болезнь не передалась, так как заразная она.

Прислужник, помогавший сначала Ивану, когда захворал тот, сам скоро заболел так же тяжело, как и царь. Но за простым челядинцем ухода не было. Только один лекарь все к нему заходил и давал ему на пробу снадобья, которыми думал царя пользоваться. Если лучше становилось прислужнику, лекарь давал это средство царю. Если от лекарства хуже становилось слуге, лекарь выливал дозу, приготовленную для Ивана. И в бане парил испытатель-врач второго больного, и холодом пользовал, ища, от чего поддается болезнь.

Немудрено, что слуга скоро и умер.

Окружающие царя, не зная, что пришлось испытать бедняку от лекаря, – перепугались, особенно Захарьины. Все их могущество зависело от состояния здоровья Ивана. Умрет он, малолетнему Димитрию, если даже признают бояре в нем будущего царя, опекуны будут даны, самые знатные, самые сильные породой, самые богатые землями и деньгами. А Захарьины только-только что оперяться стали. И, конечно, многочисленные враги и завистники поспешат

ввергнуть «выскачок» в такую пропасть, из которой потом и не выбраться. Примеры тому у всех живы в памяти: Глинские рухнули... Шуйские, Бельские рухнули! Овчина, временщик всевластный, и весь род его рухнул, в собственной крови потонул, захлебнулся.

Жуть проняла братьев Анастасии. Страх свой сумели они и царице передать. А там, когда на больного нашла минута просветления, рискнули и к нему пробраться оба шурина.

Обрадовался Иван, долгое время, в светлые минуты между бредом, не выдавший никого, кроме лекарей да челяди ближней, но ни бояр, ни родни не замечавший у своей постели.

– Здоров, Данилушка, братец... И ты, Никита... Чтой-то не видать никого из моих при мне? Али так уж прилипчива хворь моя? – слабым голосом спросил Иван.

– Есть тот грех, государь. Да вот мы не побоялись... навестить, проведать тебя пожелаем...

– Спасибо. А жена што? А Митя?

– Все здоровы, дал Господь. Кручинны только больно!

– Ну, вестимо... Да, Бог даст, оздоровею я скоро, утешу их...

– Конечно, на все Божья воля... В животе и смерти – Он Судья, государь-братец...

И тон речей у обоих шуревьев был так тревожно-зловещ, что Иван задрожал.

– Да... да разве уж так плохо дело мое? Что лекаря говорят? Я сам спрашивал. Они все утешают: «Ты, мол, здоров, государь!» Толкуют мне: «Одолеешь недуг свой тяжкий, поправишься». Что же? Али неправду бают? Тешут меня, словно дите малое? Говорите скорей!..

– Нет, что же!.. Коли лекаря толкуют – им лучше знать... – не глядя на больного, ответили оба гостя.

Помолчал Иван, вздохнул, потом опять заговорил:

– Ну, на все воля Божия!.. Никто, как Он! Вижу, надо о смертном часе подумать... Волю свою оставить, царства свои и землю всю при жизни за Митей закрепить. Господи, не дай ему того изведать, что мне по малолетству моему испытать довелось!

– А, гляди, не лучше и будет, – дай Бог, мимо молвить!.. Ну да все ж таки... ежели племяш осиротеет наш... и ежели ему защиты близкой, родной не будет... Как думаешь: долго ль ему и жить-то без тебя останется? Вон у тебя брат родной – дурашлив да никчем! Так уж надо по правде говорить. Да зато – двоюродный твой... о-ох!..

И Данило Юрьин, не докончив речи, только покачал головой.

– А что?.. Разве уж?..

– Ммм... Да как сказать... Толкуют, что большие советы советует князь Володимир Андреич с боярами да с воеводами многими... Особенно кто твою опалу изведаль... Мало того, Одашев – собака, старый пес, отец твоего любимчика, так и днюет и ночует в палатах у Старицкого. Мало ему, холопу, что сам из грязи да в князи пролез, боярином окольничьим сделан... что сынишко его стольником... Кричал, поди, Олешка, што любит тебя, што раб твой верный... А видал ли ты его при себе?

– Разок заходил...

– То-то ж! А поп Селивестр, рассказывают, с ними ж. Он – давний доброхот Старицких... Еще через Шуйских, твоих и нашего роду ворогов неустанных. То присмирили было они, как тебе Бог победу над Казанью даровал... да сына послал... А при недуге твоём тяжком – и снова кадык подняли. Да так высоко, и-и, господи! И будто недоволен Олешка малой отличкой... А как сказал ему поп Селивестр: «Не кручинься, друже! Живет правда! Помнишь, как пели жены израильские: „Саул победил тысячи, а Давид – тьмы!“ – так, може, и тебе такое же воспоют!..»

– Да быть не может? – дрожа от волнения, переспросил Иван.

– Вот те Христос! У меня вить тоже не котел на плечах. Везде свои люди поставлены. Без того нельзя. Так вот, Олешка на слова поповы и отвечает: «Бог велик и в малости – людей своих находит! А будь у меня больше силы, и ты, батько, клобук митрополита мог бы на башку вздеть. Не хитрость какая его носить! Засиделся Макарий, вишь, на своем месте!

Тринадцатый год сидит. Пора и честь знать! Одно, грит, не к руке: женатый ты поп, не вдовый, не черноризец». А поп на ответ: «Было бы из-за чего?! Постриг недолго-те принять и от живой жены! Церковь Святая – первая невеста души и единая, непорочная, неизменная!..» Вон оно куда уж дело гнут!..

Замолк Данило, смотрит: как его речи повлияли на больного? А тот только прошептал: – Дьяка моего... Ивана Михайлова... у него хартия... и митрополита мне... хочу волю свою...

Не dokonчил, побледнел и сомлел.

Но для Юрьевых было достаточно. Пользуясь страхом, который зараза внушала всем близким к Ивану людям, они вторично выследили, когда легче стало больному, – и явились с Макарием и еще с двумя священниками митрополичьими, ближайшими, предупредив заранее владыку, в чем дело.

Дьяк Михайлов, у которого, по обычаю, наготове была духовная, дал ее царю.

Макарий первый вошел к Ивану и долго сидел с ним наедине. О чем толковали они – никто не узнал. Потом позвали свидетелей: бояр и попов, приготовленных в соседнем покое, – и они подписали завещание больного царя, составленное по примеру других таких же актов, писанных отцом и дедом Ивана.

Особенностью их являлся новый порядок наследования. Престол назначался не старшему в роду, как раньше бывало, а старшему сыну умирающего царя. И только если нет сыновей у него, власть переходит к братьям по старшинству.

– Царь подписал духовную... Царство царевичу Димитрию приказал! – сейчас же пронеслось по дворцу.

И печалились люди, близкие к Ивану, – и рады были, что решен этот жгучий вопрос, грозивший многими неурядицами, умри царь внезапно, без завещания.

Зато партия князя Владимира призадумалась.

– Не кто, как Юрьины, надоумили царя! – сказал Сильвестр, недовольный, что за последнее время Иван не так уж послушен ему стал, как был первое время после «великого пожара московского».

– Не беда! – отозвался бывший при разговоре изворотливый князь Иван Михайлыч Шуйский. – Завещать он все может, хошь Могола Великого престол, – своему Митяньке. А мы креста не целовали младенцу несмысленному помимо старшего родича, дяди его, князя Володимира, как оно по старине водилось... и целовать не станем. Хуже, что ни день, царю... Гляди, до разговенья не дотянет, не услышит звону пасхального... А мы – своего царя красным яичком величать будем.

И Шуйский поклонился степенно князю Владимиру, в доме которого собрались все единомышленники. Но Иван не только дотянул до пасхальной заутрени, а даже словно бы выздоравливать стал, только слабость сильная держала его в постели. И по-прежнему отделен он был ото всех, во избежание заразы.

Вдруг оповещение пришло: на второй день Пасхи – присяга всем боярам и князьям объявлена, и князю Юрию, и самому Владимиру Старицкому; а присягать и крест целовать наследнику царскому, первенцу его, княжичу Димитрию. И во всех церквах приказано от митрополита: Евангелие ставить и к целованию крестному с записью приводить всех – и бояр, и простых, и служилых людей.

В самую Страстную субботу сильнейший приступ болезни снова поставил Ивана на рубеже между жизнью и смертью. По словам врачей – то был решительный кризис.

Загудели в полночь пасхальные колокола. Все церкви кремлевские сияли тысячами свечей... Черно повсюду от молящихся... Всем веселье и радость. Только царица Анастасия, в слезах, бледная, убитая, сидит одна в терему, у колыбели первенца своего, так печально вступающего в свет. Не радость светлую, опасности и гибель несла ему первая весна, которую при-

шлось встречать на земле малютке. Умри Иван – царица знала, что ей с ребенком тоже недолго жить на свете. Избавятся от нее скорешенько враги, соперники ее ребенка, милого, ненаглядного сыночка...

Всех женщин отпустила Анастасия в церковь дворцовую, а сама не пошла никуда. Не праздник – тяжкие будни для нее потянулись с той минуты, как захворал Иван. Да еще самое худшее, что не пускают царицу к больному. Говорят, может и она захворать, и малютку погубить. Эта последняя мысль, опасение заразить Дмитрия, пересиливает в молодой женщине неодолимое желание: пойти к мужу, кинуться на колени у его постели, целовать страдальца, освежать прикосновением рук его пылающую голову...

И раздвоенное чувство Анастасии: страх за ребенка и тоска по мужу – измучили, извели эту кроткую, дородную раньше красавицу.

Только ее прекрасные глаза – словно еще больше они стали, еще шире раскрыты на исхудалом лице – и горят затаенной мукой, поражают скорбной красотой, влекут к себе неудержимо каждого, на кого ни взглянет Анастасия.

Но она и глядит-то редко на кого, кроме как на сына. Все ей в тягость, всем не верит она. И хотела бы, а не верит!

Ведь что теперь только делается?! Ни для кого не тайна, какие происки творятся в пользу Владимира Старицкого против Ивана. И пугливо затихла Анастасия. Полумрак, тишина в низких покоях теремных у царицы. Там, за окнами, – весна просыпается, природа воскресает, Светлое Христово воскресенье славят люди. А на сердце у одинокой женщины – такая же грусть и полумрак, как в светелке, в спальне царевича, где сидит она, сторожит мирный сон младенца.

Вдруг скрипнула дверь в светелке. Анастасия поднялась, сделала шаг вперед и, вглядываясь в углубление арки, где был вход, спросила:

– Ты ли, Дарьюшка?

Но, к удивлению царицы, в горенку с поклоном вошел Алексей Адашев, а не старуха-мамка верная, Дарья Федосеевна, сестра казначея Головина.

Прямо и смело подошел он к царице, словно не замечая ее удивленного взгляда, еще раз поклонился до земли и, подавая ей большое красное яйцо лебяжье, хитро изукрашенное и разрисованное, проговорил:

– Христос воскрес, государыня-матушка!

– Воистину воскрес! – отдавая поклон, ответила Анастасия и машинально, как принято, подалась немного вперед головой, чтобы принять уставное христосование.

Смелый временщик, вместо того чтобы почтительно, не касаясь руками, не прижимая губ, совершить обряд, – неожиданно подошел совсем близко к Анастасии, обнял ее сильно, горячо, как только муж жену или брат любимую сестру обнимает, и три долгих, греховных поцелуя обожгли царице губы.

Крайнее изумление, смущение невольное, стыд и гордый гнев, целая смена различных ощущений пронеслась в душе у Анастасии. Не находя, чем объяснить подобную неслыханную наглость, она подумала: «Пьян, видно, холоп».

И решила быть очень осторожной с незваным гостем.

Все-таки немалую службу сослужил он ее мужу, государю Московскому. Толкуют, что отец любимца царского, боярин Федор Адашев, на сторону Старицкого и Шуйских перешел, а сын под шумок так себя ведет, что не разберешь, чью руку он тянет. Больного ли царя или здоровых недругов его? Ну да сейчас разбираться не время. Каждый человек пригодиться может, особенно такой, как Адашев, первый друг властного Сильвестра и сам – не маломощный в Думе, в управлении земском и даже в рядах воевод.

Не любит лукавить и гнутья Анастасия. Претит ее чистой душе всякая ложь. Да что поделаешь?! Гроза налетела и на семью ее, и на все царство. Тут и не хочешь, а лукавить, душой

кривить научишься. В одно мгновение этим самым троекратным, жгучим, полным страсти лобзанием выдал свое давнишнее влечение к Анастасии Алексей. Все стало ясно царице: и взгляды его долгие прежние, и речь ласковая, вкрадчивая... Но, пока был здоров царь, наперсник его, ложничий, спальник приближенный, в узде держал свои чувства.

Теперь – Иван умирает. Положение царицы и царевича тяжелое, шаткое. Чего же стесняться?!

Противно Анастасии видеть такую низкую душу, встретить черную неблагодарность к царю со стороны человека, всем обязанного Ивану. Но – надо молчать, терпеть. Может быть, не давая никаких прав на себя, кротостью и лаской удастся пробудить совесть в сильном лукавце? Может быть, и ей, и царю, и Мите ее милому послужит на пользу Адашев? Ведь вон какую он силу забрал!

И бедная, растерявшаяся женщина подавила смущение и негодование, все чувства, вызывающие сейчас яркую краску на щеках царицы, сделала вид, что не поняла, не заметила дикого порыва в своем подданном и рабе.

– Что скажешь новенького, Алексей Феодорович? Садись. Спасибо, что не забыл меня, одинокую, бедную...

– Да, не ведает, видно, и Господь порою, что творит, – хмурясь проговорил Адашев. – Тебе, такой душеньке чистой да ангельской, государыня-матушка, испытания столь невыносимые и незаслуженные посылает!

Горячим, искренним тоном произнес Адашев свою речь, но хмурится он не на несправедливость Судьбы, а на другое. Прямо в душу ударил ему равнодушный, сдержанный вид, с каким Анастасия приняла смелую, жгучую, хотя и замаскированную ласку отважного, красивого собой, молодого мужчины. Алексей ведь знал себе цену. Лучше бы рассердилась царица за необычный поцелуй, как бы дерзость. Но она словно ничего и не заметила! Это слишком обидно.

Неужто так любит молодая красавица своего ветреного, припадочного и раздражительного мужа? Любит и после такой долгой его болезни, когда тот умирает? Любит, вопреки всем огорчениям, какие приносил ей Иван на глазах самого Адашева? Быть не может!

Значит, другой кто-нибудь успел опередить его, Алексея? Занял место, которое он думал захватить? Место, равносильное положению Ивана Овчины-Телепня при княгине Елене во время младенчества Ивана. Теперь, случайно, – все сходно повторяется. Царь Иван умирает. Димитрий, наследник, – малютка. Против нового порядка наследия – Владимир Старицкий стоять собирается за права старшего в роду на венец Мономахов. Старший этот – сам Владимир. Без Адашева и Сильвестра – Анастасии пропадать! Неужели она не поймет того?

И, подавляемый ослеплением страсти столько же, как и честолюбием, Адашев, совершив первый шаг, решил, не останавливаясь, идти уж и дальше, до самого конца.

Быстро подойдя к двери, он заглянул туда, убедился, что нет никого еще в соседней комнате, да и быть не может. Он в самом начале службы выскользнул незаметно из храма и пробрался сюда. Захлопнув тяжелую, сукном обитую дверку, Адашев даже не задумался, запором преградил до времени вход в комнату кому-либо из свиты царицыной.

Вернувшись к царице, у которой и ноги подкосились, так что она вынуждена была опуститься на лавку, недалеко от колыбели сына, – Алексей подсел рядом и решительно заговорил:

– Слыхала ль, государыня, на второй день праздников царь-государь приказал дьякам и боярам своим думным к присяге людей и рать привести, особливо – Шуйских с Мстиславскими и князя Володимира...

– Слыхала! – как эхо, слабо отозвалась царица.

– А знаешь ли, пошто так заторопился царь? Ведь духовная дадена. И ежели помрет государь – воля его ведома. Так, говоря, спешки такой, присяги преждечасной причину ведаешь ли, государыня?..

– Сдается, что знаю.

– Знаешь? И то ладно. Меньше мне толковать с тобой придется. Так ведаешь ты и всю кашу, какую княгинюшка вдовая, Евфросиния Старицкая, для сынка своего заварила? А?.. Как бояр подбирает, люд честной сзывает, золотом сорит, чтобы смуту поднять, на место наследника-царевича – дядю евоного первородного старинным обычаем на стол посадить?

– Слыхала... Сказывали.

– Та-а-ак... А чем беду избить? О том думала ль, государыня-матушка?..

– Нет! На Бога надежду возложила. Не даст Он в обиду сироту!

– Э-эх, государыня, давно сказано: на Бога надейся, а сам гляди-поглядывай! Вон, государь твой, хошь и хворый, умирает, поди, – а боле тебя в деле смекает: на послезавтра присягу объявил. Оно бы кстати, да одна лиха беда: кто примет присягу, тех и бояться бы нечего. Все люди прямые, верные, честные! А кто опасен, кто змий самый и роду и царству нашему, те или прямо креста целовать не станут, али увильнут, в «нетях», хворыми скажутся, потайно в вотчины отъедут на время на самое смутное... Ежели, скажем, нынче умрет царь...

Настасья вздрогнула даже от этих жестких, уверенных слов. Но Адашев прав: и сама царица плохо надеется на выздоровление мужа.

– Нынче умрет царь, – словно не заметив волнения Анастасии, говорит Алексей, – завтра ж мятеж загорится. Ежели еще при жизни государя не приключится чего... И дай Бог, ежели тебя в заточение и царевича – в монастырь свезут, от мира укроют, пока посхимить можно буде отрасль царскую. А не то...

И Адашев уже не стал доканчивать, не пояснил подробней, какая участь может постигнуть мать и ребенка со смертью царя.

Молча слушала Настасья, выжидая, желая узнать, к чему клонит речи свои этот раньше такой мягкий, вкрадчивый, а теперь – словно подмененный человек.

Адашев, и не ожидая ответов от Анастасии, быстро продолжал:

– Есть еще спасение у тебя с сыном... Все равно: умрет ли Иван али выздоровеет...

Не царем, не государем назвал Адашев мужа, а просто Иваном – и это больно кольнуло в сердце царицу. Но она все молчит и слушает.

Адашев же, не видя или не желая видеть ничего, продолжал:

– При юности еще Ивана речи ходили воровские, что не от колена царского он, а сын-де... Ну, сама знаешь... И вот, если будет очень стоять государь на присяге Димитрию, хотят припомнить о том, что-де Володимир Старицкий прямой Рюрикович, а не сумнительный... И прямо креста не примут... Гляди, при жизни из цариц с царем тебя и его разжалуют.

Настасья слушает – молчит.

– А всему тому и поправка есть. И в моих руках она! Знаешь, немало бояр я людьми сделал вместе с попом Сильвестром. За нами стена тоже стоит немалая. Можем мы перехватать нынче ж в ночь самых главных ваших недругов и то им уготовать, что они вам сулят. В ту яму толкнуть, кою тебе с сыном роют. Только...

– Только?..

– Добро за добро. Не... не отринь меня!.. – вдруг, против воли понижая голос, произнес Адашев, хотя и не мог их услышать никто.

Побледнела Анастасия. Вскочила. Глаза горят негодующим огнем, губы презрительно сжаты.

Всего ожидала она, только не такого прямого, постыдного торга. И, не находя слов, с дыханьем, которое перехвачено было в груди, – стоит она, словно мраморное изваяние...

Зарвавшийся Адашев, объясняя смущением молчание царицы, обрадовался, что она не гонит, не бранит его, как можно было ожидать, а стоит и глядит молча... И, чтобы окончательно довершить предполагаемую победу, Алексей быстро продолжал:

– Не посмел бы я слова такого сказать, если бы уж давно не жалел тебя, не тосковал в ночи бессонные, днями – годами не кручинился... Какая твоя жизнь?! Раньше – совсем образа Божьего не было на Иване, а как мы с Селивестром стали поманеньку обуздывать его, он и с тобой по-людски зажил, да не совсем! Чай, знаешь, что на охоте он творит, в селах своих? Слыхала, что под Казанью было?.. И татарок, и крымков, и с робятами блуда всякого непотребного!.. А ты все терпишь, кроткая, аки агнец, голубица чистая... Как же не любить тебя, красотушка?.. А греха не бойся. Вдовой останешься ли – можно будет грех венцом покрыть. Я сам уж боле года вдовый. Поженимся с тобою! А выживет Иван – покаемся в грехах, Бог простит, он милосердный. А уж как любить, беречь тебя буду! Не мальчишка я... не беспутный какой. Видала, чай, как сумел я князьями верховодить, царство, не от отцов дарованное, а чужое, устроить сумел. Так для тебя не жизнь – рай земной, гляди, налажу... Да что ж ты молчишь? Слова не скажешь? – вдруг перебил он сам себя, обеспокоенный все-таки видом и безответностью Настасьи Романовны.

Невольно ища ее близости, он сделал шаг вперед и хотел взять руку царицы.

Но Анастасия отшатнулась от него, как от пресмыкающегося, медленно, не сводя негодующего взора с лица Адашева, с презрительной гримасой на прекрасных губах, – подошла вплотную к кровати Дмитрия, словно ища там защиты.

Дикая, внезапная, необъяснимая злоба охватила Адашева при виде отступления любимой женщины. Редко поддавался страстям и влечениям уравновешенный, добродетельный Алексей, но теперь страсть взяла свое – и он окончательно потерял голову. Какие-то темные силы проснулись и владели сейчас этой всегда ясной и спокойной душой. Он хрипло заговорил:

– А! Бежишь?.. Не любишь меня?.. Боишься? Может, иного кого полюбила уже? Не в час, не вовремя я, значит?.. Все равно! Гляди, не сделаешь по-моему – и подмоги ниоткуда не жди. Гибель тебе, и сыну твоему, и мужу хворому! Всем гибель вам!

Тогда все так же, не произнося ни звука, с лицом скорбным, бледным, покрытым ужасом, – царица распахнула полог кровати сына, подняла руку и коснулась распятия с мощами, висевшего над изголовьем Дмитрия, словно ища защиты от злых духов.

Губы ее тихо-тихо стали шептать слова молитвы, словно заклинание от бесов.

Какой-то хриплый, натянутый, притворный смех раздался у нее за плечом. Это захохотал Адашев.

Видя неудачу, он все-таки не хотел признать себя побежденным и сквозь притворный смех заговорил:

– Гляди, испугалась царица-матушка! Успокойся, я не дьявол во плоти, хоть и правда: искушать тебя приходил. Время приходит крайнее. Вот и понадобилось мне узнать: какова ты мужу своему жена верная, сыну – мать доброхотная? Вижу: честь и хвала тебе, государыня. Оздоровеет государь – скажу ему, сколь ты верна закону и слову Господню... Прости, не обессудь! Пойду хлопотать, чтобы послезавтра и в самом деле чего не случилось в час целования крестного. Храни Господь тебя с царевичем.

И, отдав земной поклон, Адашев вышел из светелки, оставя в полном недоумении бедную женщину. Не знала Анастасия, что ей и думать. Куда кинуться? Что начать? Ей даже не верилось, что вся дикая сцена разыгралась и взаправду здесь, в опочивальне ее сына, у его колыбели. Не наваждение ли то было дьявольское? И она все стояла, шепча молитвы...

Пришли боярыни, и девушки, и мамки, стоявшие у заутрени, стали христосоваться с царицей, разговенье устроили.

Анастасия, наполовину выйдя из своего оцепенения, подозвала Дарью Федосеевну и сказала:

– Дарьюшка, побудь при младенчике. Не отходи. А я на миг тут на один... Только не отходи, гляди!

– Что, государыня-матушка, али в палату Крестовую охота заглянуть, службу послушать?.. Поют, поют очень там. Иди, хоть малость побудь, а то – грех! Экий праздник, а ты и в церковь Божию не пошла.

– Не до того, Дарьюшка...

– Горе, знаю... Да к Господу-то с горем и надо ходить. Он благ, Милостивец... Иди, иди, милая.

И старушка села у колыбели, явно решив не отходить отсюда, как приказала царица.

А Настасья Романовна пошла не в церковь домашнюю, нет.

Откинув писанку Адашева, которую машинально держала еще, зажав в руке, – царица взяла с блюда простое красное яйцо, каким христосовалась со своими девушками и старицами, проживающими у нее наверху, и, кутаясь в простой охабень, полуосвещенными, а то и совершенно темными, знакомыми переходами направилась в ту половину дворца, где лежал больной Иван. За царицей шла с фонарем одна только карлица-шутиха, потешная Анастасии, злая, но преданная и бойкая девка-горбунья.

Вот и проход, ведущий в покои царские. Алебарщик узнал и пропустил царицу. Вот двери комнаты, где лежит больной. И здесь, по соседству с его спальней, – щекошет обоняние сильный запах курений и жженого можжевельника, который сжигался, чтобы не дать распространяться заразе.

Приоткрыв дверь, Анастасия робко заглянула в обширную, хотя и невысокую, слабо освещенную опочивальню.

Иван спал на кровати, лишенной обычного полога. В углу сидел и сладко храпел очередной монах, склонясь над толстым томом церковным, который читался вслух для развлечения царя, когда тому становилось полегче. Склоницы, ковши, кубки на столе... Лицо у больного вырезается на изголовье, исхудалое, бледное. Но спит он спокойно, глубоко. Это была как раз минута перелома, кризиса. Сильный жар сменился упадком сил и понижением тепла в теле. Врач, видя, что Иван покрылся испариной и впал в глубокий сон, тоже ушел отдохнуть. Теперь надежда воскресла, царь мог быть спасен, если только не явится какой-нибудь неожиданности.

И долго глядела царица на спящего мужа. Потом, вспомнив о заразе, об опасности, которая грозит ее ребенку, – она нагнулась, тихо положила за порог красное яйцо и шепнула бледными, пересохшими губами:

– Христос воскресе, Ванюшка, милый мой... Спаси тебя Господь. Хоть взглянуть привелось... Христос воскресе!

Мысленно послав мужу поцелуй, тихо прикрыла дверь и ушла.

По дороге она сказала своей провожатой-карлице.

– Слышь, скажи Дарьюшке, что я в мыльню прошла. Пусть принесут туда мне надеть все чистое, другое. А это сжечь прикажу. И пусть она побудет у младенчика, пока не сменюся. Тогда приду. Тогда – можно будет. Не занесу ему ничего. А только ты... ты, гляди, молчи... Не рассказывай, где были мы с тобой.

Только успел соснуть немного, передохнуть часок-другой митрополит Макарий после долгой, утомительной пасхальной службы и снова встал, прокинулся в обычный ранний час. Умылся старец, прочел краткую молитву и подошел в раздумье к широкому окну своей кельи, заменяющей и кабинет, и библиотеку. Распахнув половину рамы, состоящей из больших слюдяных окончин, вставленных в частый деревянный переплет, владыка зажмурился от снопа солнечных лучей. Вместе с порывом ласкового весеннего воздуха и с гулом трезвона пасхального ворвались они в небольшую келью, где пахло ладаном, кожей старинных переплетов и сухими травами, хранимыми в особом ящике на случай легкого недуга, когда Макарий любил пользоваться себя домашними средствами.

Стаи голубей, питомцы владыки, словно бы только и ждали его появления, сорвались с карнизов соседних хором великокняжеских, с подзоров Грановитой палаты, налетели от

церкви Ризположения, стоящей в самом углу митрополичьего двора, и тучей опустились на каменные плиты перед окном, на голые, покрытые почками ветви соседних кустов, на карниз окна, – куда только возможно, поближе к щедрому хозяину. Макарий, завидя гостей, добыл из нарочно приготовленного мешка сухого гороху и горстями стал кидать его птице, которая шумно ворковала, дралась между собой, переносилась с места на место, веселя старика этим гамом и суетой.

Жилище митрополита Московского отличалось скромностью, хотя уже намного превосходило ту простоту, с которой мирились первые владыки, жившие в незатейливых и тесных срубах. Каменное здание митрополичьих покоев установлено было на высоких арках-подклетах. Обитаем был лишь второй этаж и верхняя светлица, где летом царила прохлада, такая желанная для отдыха после знойного дня. Во втором этаже, не считая передних и задних сеней, обширных и предназначенных для приема простого люда, было всего три просторных, но невысоких и просто обставленных кельи. Первая служила для приема, для работы и называлась «горницей». Вторая – «крестовая». Здесь, в большом киоте, помещались старинные образа: Бог Саваоф в чеканной, золоченой ризе, украшенной дорогими самоцветами; Богородица-Одигитрия, Ангел-Хранитель и чудотворец Макарий, покровитель владыки. Все иконы сияли дорогими окладами. В особом поставце – церковные и богослужебные книги, рукописные, в тяжелых переплетах, деревянные доски которых были обтянуты кожей, украшенную живописью и золотым тиснением.

Список «Миней» на данный месяц, произведение самого Макария, лежал на почетном месте, поверх других.

Задняя келья, столовая и спальня, отличалась широкими скамьями по стенам. Здесь на ночь, в переднем углу, под иконами, клали тюфяк Макарию, сверху – перинку, простыню и одеяло. А утром все уносилось в подклет, в кладовую, пристроенную там, между арками. Если не приходилось владыке есть вместе с какими-нибудь почетными гостями, он и за трапезу садился не в Столовой палате, устроенной особо, а здесь же, в заднем покое. Передняя горница была тоже не пышно обставлена. Неизбежные лавки по стенам, одно кресло, обитое тисненой кожей, другой – стул резной, кленовый, сиденье и спинка покрыты подушками рытого бархата. Два-три стола: один затейливый, складной, расписанный и выложенный разноцветными узорами из кусочков дорогого дерева; остальные с ящиками или прямые, резные, изукрашенные искусными мастерами, которыми полна была особая слободка митрополичьих «рабочих людей».

Вообще, патриарший двор, отделенный от царского высоким тыном, но соединенный с ним деревянным извилистым «Чудовским переходом», представлял из себя целый городок, как и царский двор, только поменьше.

Небольшое зеркало на стене в первой келье, подсвечники искусной работы, тонко чеканенные; часы с боем в углу, в тяжелом футляре, дополняли убранство лучшей, жилой кельи Макария. В углу же, на особом поставце, стояло несколько кубков, чаши, ковши – подарки царской семьи и больших бояр митрополиту по разным торжественным случаям.

Только что Макарий, кинув последнюю горсть жадным голубям, успел сверить свои «воротные» часы, круглую, тяжелую луковцу, с «боевыми» часами, громко тикающими в углу, как за дверьми раздался обычный входной опрос.

– Аминь! – откликнулся Макарий, давая тем разрешение войти.

Служка вошел и, совершив обычное метание, доложил:

– Отец протопоп Сильвестр тамо и Адашев, ложничий царев, Алексей Феодорович. Молют, владыко, видеть очи твои. Благословишь ли?..

– В добрый час!.. Зови... Рад видеть... Мантию сперва одеть помоги... И клобук, вон...

И Макарий, бывший в домашней зеленоватой ряске из тафты «таусинного» цвета, с нашивками, то есть с рядом мелких пуговиц, застегнутых на петли, да в камчатной легкой шапочке, – с помощью служки накинул на себя мантию из пушистого бархата темно-вишне-

вого цвета, украшенную жемчугом и изображениями четырех евангелистов, черненными на серебре. Белый вязаный шелковый клобук был осенен крестом из самоцветов и окаймлен по сторонам четырьмя серебряными дощечками, тоже с изображениями святых, сделанными эмалью. Жемчужный, хитро вышитый спереди херувим и другие жемчужные узоры дополняли украшение белой невысокой митры, какую тогда носили московские первосвященники.

Служка ушел. Распахнулась снова дверь, и вошли ранние гости Макария – Сильвестр и Адашев.

– Что скажете, гости дорогие? – после первых привычных приветствий и благословений спросил хозяин, усаживая протопопа у стола с собою и указав Адашеву на скамью, тут же, близко, у стены. – Какие дела в такую рань вас подняли? Тебя, отче, и тебя, чадо мое?

– Вестимо, дело есть. Зря не стали бы тревожить тебя, владыко! – со своей обычной суровой, отрывистой манерой проговорил Сильвестр. – Наутро крестное целование княжичу Димитрию приказано для ближних бояр, для набольших, а там и для всех... И для князя Володимира Ондриича.

– Ведаю о том. Не без меня делается. Где ко кресту приводить – меня миновать можно ли?

– Вот то-то и оно-то! Неладно это.

– Что неладно? Не пойму, отец протопоп. Стар, видно, стал, туг разумом.

– Ну что ты, Христос с тобой, отче-господине! Первый год мы, что ли, друг с дружкой знаем? Ты?.. Да постой, был у тебя Данилко, брат вон его? Сказывал ай нет?

– Данило Адашев? Как же... Нонче, как только я к себе собрался, он во храме и подошел. Говорил, как же... Так вы вот насчет чего?..

– Да, не по пустякам же, говорю... Вон толкуют: нынче спозаранку проснулся царь в памяти. Может, в последний то раз... Очень плох, сказывают. Так ты бы сам. Или через людей каких ближних... Вон хоть Михалко Висковатый, дьяк царский. И тебе он человек приближенный. И поговори. Пусть повременит с присягой али и совсем поотложит... Чего в голову пришло царю-то: малыша спеленатого в государи нам сажать?! Что будет?!

– А что будет, как мыслишь?

– И думать нечего: что в Иваново малолетье было, то и теперя поновится... коли навяжут царству...

– Погоди, отец... Навяжут, говоришь ты... Бог так постановил, что сын по отцу наследник.

– В малом деле, а не в государевом. Недавнушка в нашей земле энти порядки пошли. Раней братан второй по старшом, на престол садился. Так и теперь Старицкий князь государем быть должен, коли Бог возьмет Ивана.

– Ну, коли должен, так и будет. На все воля Божья.

– Так воля ж Божья без людей не творится, владыко. Не робята мы с тобою, ведаем то.

– Не робята, не робята, истинное твое слово, отец протопоп. А ведь про них и сказано: узрят царствие небесное... Ино дело и робятками быть хорошо же.

Сильвестр нетерпеливо повел плечом.

– Ритор сладчайший! Владыко милостивый! Не словеса твои, что слаще меду дивния, слушать мы пришли, а дела, помощи великой просить.

– Рад... Что могу?.. Все на благо Руси, на спасение душ христианских творить готов.

– Так и я же о том же. Сколько лет видел ты дела мои. Не на благо земли мною что деяно ль? А ни макова зернышка. Так и ныне поверь: не на злое, на доброе мы с Алешей склонить тебя пришли. Да и дело-то все порешенное. Пристанешь ты к нам али нет, присяги той не примет никто, и не бывать, и не будет она!.. – даже ногой притопнув, отрезал властолюбивый, избалованный долгой диктатурой над Иваном фанатик-поп.

– Вон оно что?.. – протяжно произнес Макарий. – Ну, этого мне не сказал Данило. Сказывай, сказывай, что там у вас решено, как слажено? Может, тогда и я, чтобы горшего зла избежать, пойду на малое, на легчайшее.

– Ну вестимо... Так и след... Так оно и надоть!..

– А уж коли надоть, так и подавно! – с незаметной усмешкой произнес владыка. – Говорите ж, как дело обстоит?

– Да вот, Алеша поведает тебе, владыко.

Адашев, внимательно следивший не только за каждым словом обоих собеседников, но и за малейшим изменением в выражении лица у того и у другого, скромно заговорил:

– Сдается мне, горячность да прямизна отца протопопа в сомнение ввели тебя, отче-господине. Ни на что не пришли мы склонять, а благословения и совета твоего испросить. Велика мудрость твоя. Не единожды и нам, как и всей земле, она в помощь бывала. Как сыну с отцом родным, дозволю поговорить с тобой, владыко, а никак иначе...

Кротко, ласково кивая головой, слушал Адашева Макарий, искренно любивший этого умного, чистого душой и нравами человека. Пользуясь Сильвестром, незаметно для того самого, Макарий всегда при этом опасался, что поп, по известного рода ограниченности и умственной близорукости, по грубости душевной, перетянет нитку или будет сбит вредными, опасными людьми и вместо пользы станет приносить вред Ивану и земле Русской. А для Макария, вышедшего из простонародья, родина и благо государства Московского были выше всего. Насчет Сильвестра не ошибся старик. В Адашеве владыка был больше уверен, как в сознательном, бескорыстном помощнике. Но события последних дней, заговор бояр в пользу Владимира, созревший в дни болезни царя, заговор, о котором прекрасно знал Макарий, не хуже Сильвестра, наконец, участие в заговоре Адашева – все это поколебало веру Макария в ум и в совесть Алексея.

– Чему иному быть? Так он и видимо: все по-старому выйдет, смуты да распри пойдут!

– А к чему же разум людской дал Господь нам, твари своей? К чему создал нас по образу и подобию Своему? – спросил спокойно Макарий. – Живи мы лишь по-прошлому да по-настоящему, – и царствия бы нам небесного не знать... Оно ведь тоже грядущее впереди! И его не видали люди живые, а лишь верят в него. И верой воистину живы, а не единым питанием хлебным. А по вере – и дается людям... Так и в земском, и в государском деле великом. Можно про злое слышать, худшее видеть, а лучшего ждать и получить его. И тут – вера же надобна! А то еще у меня рассуждение такое есть: видим мы, что лет более семи ведут землю Русскую на благо чьи-то руки, по воле Божьей. Почему же вы полагаете, что и по смерти Ивана-царя те же руки не останутся при кормиле государственном, не управят дело великое, святое, земское, на благо люду крещеному, по присяге, данной всеми: служить царю Ивану и царевичу его, Димитрию... по совести чистой, коя есть – дар высший и рай сладчайший на земле!

Конец речи Макарий произнес стоя, по привычке проповедника и пастыря душ.

Оба собеседника его тоже поднялись со своих мест.

Макарий продолжал:

– Не окольными путями – прямо скажу! Верой и правдой служили доселе Ивану советники его ближние. Ничем не покривили душой ни пред царем, ни пред царицей, ни пред народом его...

Вздрыгнул Адашев при этих словах, словно почуял намек, затаенный укор. Но в пылу речи Макарий, ничего не замечая, продолжал:

– Вот и верю я: кто раньше, при взрослом царе, набалованном, с пути сбитом, умел до правды дойти, обуздать страсти царицы и в порядке вести дела царские – тот и при вдовой царице и при младенце-царе власти-силы не потеряет, кого бы там из вельмож для прилику в опекуны ни поставили бояре, Дума царская... Вот как оно, по-моему. Что скажете, братие?

Адашев, задумавшись, молчал.

Сильвестр заговорил, насупясь:

– Не мимо сказано: Бог – единая крепость моя! Безумец, кто на песке созиждет здание. Дунет ветер – и рухнула гордыня человеческая! Князя Володимира знаю я. Всех евойных – тоже знаю же. И уж все обговорено, все обещано мне, даже с клятвою...

– Обещано... с клятвою?... Да кто обещал? Кто клялся-то? Вот я, митрополит Московский и всея Руси... Хуже – еще мне может быть, а лучше – и некуда. Вот ежели я что скажу, можно верить. Царю – можно верить, и то гляди, в какой час слово было молвлено... Ему – тоже корысти нет кривить али душой лукавить. Двоих-троих из бояр да вельмож наберем, у кого слово и дело – воедино, кто не ради страху по закону живет, но и по совести... А другие-прочие? Тому – денег мало... Иному – мест да разрядов хочется... Тот – за брагу, за блуд богомерзкий себя и душу свою предаст и продаст! Аль тебе они, батька, неведомы? Слуги и родня вся Володимирова?! Палецкий – грешник, стяжатель старый, прости Господи, не в осуждение, но в назидание душ ваших говорю... Фунник Никита, что в казне царской позамотался, теперя присягу кривит, полагает: новый царь в столбцы не заглянет-де, прочету взыскать не соберется!.. Князь Ивашка Пронский Турунтай!.. Так он – прямой турунтай и есть, душа заячья, шаткая... Сколько разов бегивал да сызнова каялся, у царя откупался... Кто поманил его кафтаном новым да шапкой с бубенцом, – он и тут. И в Литву гнется, и к султану залетывал! А московские настоящие государи не очень-то бегунов жалуют, хошь и Рюриковичи те! Вот и мутит Ивашко Турунтай... А там – Патрикеев, князь Петр, Щеня по прозванию, да «щеня» – не ласковое, злое, кусливое! Ему хочется – стоит, не стоит он – первой бы первых быть! А воцарится Володимир, да не по шерстке погладит собаку эту сварливую – она новых хозяев, новых пинков искать побежит. Шеремёты-перемёты еще в своре... А там – другие Пронские, захудалые, что на деревни да на посулы княгини Евфросиньи зубы точат... Семен Ростовский, дурень-сын отца-простеца... Шуйские – лисы, что носом чуют, где добыча легкая. Их первое слово между собой: два дурня бьются, а Шуйские смеются. Им нож острый, что не ихний род главный в земле. Что Святая София ихняя, новгородская, перед нашими храмами святыми московскими главу клонить должна. Горделивое семя змиево! А там... Э, да чего и учитывать! Один другого краше! И таким-то людям ты, батько... ты, Алеша, – себя и землю на милость отдаете? Помыслите!

– Чего раздумывать? – упрямо проворчал Сильвестр. – Думано уж да передумано. И вокруг царя – не медом мазано! Все того же лесу кочерги. Уж я порешил – не переделывать статью. А ты, вижу, владыко, отсыпаешься от нас? Жаль! Все время заодно шли...

– Ни от вас я, ни к вам. Я не думный боярин, не советчик земский. Я – Божий слуга, за всю Землю смиренный богомолец. Всегда то было, так и останется. Как Бог решит, так и я буду...

– Ин и то ладно, ежели хоша мешать нам не станешь! – толкуя по-своему слова Макария, произнес Сильвестр. – Благослови прощаться. Пора уж нам.

– Бог благословит! – осенил обоих крестом Макарий, и гости, покинув горницу, озабоченные, задумчивые, медленно стали спускаться по ступеням митрополичьего крыльца, не обмениваясь между собой ни звуком.

А Макарий, поглядев им вслед, с сожалением покачал головой и зашептал:

– Горячие кони, добрые, да неоглядчивые. Занеслись, заскакали... не быть добру! Обуздать теперь их надобно! Господи, прости мое прегрешение. Ты зришь сердце мое. Не для себя – для земли, для царства – и грех приходится брать на душу порой... И лукавить, и земными делами заботиться...

И, обратясь к образам, висящим в углу, Макарий стал горячо творить молитвы.

Через несколько минут, подойдя обратно к столу, он уж протянул руку, чтобы дернуть точеную рукоятку со шнуром, которая вела к колокольчику, призывающему служку, – как

вдруг за дверью раздался голос его, быстро произносивший обычное «Господи Иисусе...» – и затем сейчас же возгласивший в приоткрытую дверь:

– Государыня, великая княгиня жалуется!

Распахнулась дверь, и в сопровождении двух ближних боярынь в келью Макария быстро вошла Анастасия.

За время болезни Ивана она часто навещала владыку, только здесь и находя облегчение безысходному горю своему.

Но приход царицы в такую раннюю пору был очень необычен. Да и вид у нее был слишком взволнованный. Невольно, вместо приветов и благословений, Макарий поспешно спросил:

– Что случилось, княгинюшка, дочка моя милая? Али царю твоему плохо? Жив ли еще? Не может того быть, чтобы... Мне знать дадут первому, позовут для святой исповеди, для... Да что приключилось, рассказывай.

Царица, жестом дав знать боярыням, чтобы те ушли в переднюю, вдруг заплакала и закрыла руками лицо. Но видно было, что краска пурпуром заливает это миловидное, исхудалое, кроткое лицо.

– Сядь, сядь, милая! – с чисто отеческой лаской, усаживая царицу, заговорил Макарий. Налил в ковшик из жбана, стоящего в стороне, дал пить Анастасии.

Сделав несколько глотков, царица пришла немного в себя и дрожащим голосом заговорила:

– Пришла я к тебе, владыко, а сама не знаю, почто и зачем? Что сказать, как начать? И ума не хватает. Слов не подберу. А пойти – надобно, больше не к кому и кинуться...

– Пришла, стало, Бог привел. Зачем? – узнаем сейчас. Слов не подбирай. Говори, как само скажется. Стар я... отец твой духовный. И знаешь, дорога ты мне, словно родная дочка. Не царицу я чту – люблю в тебе душу твою кроткую да чистую. Ежели жив царь, значит, иное горе? Обидел тебя кто? Али княжич наш захворал, храни Господь? Что там стряслось? Ну-ка выкладывай. Все обсудим, горю поможем с Божьей помощью...

– Ох, уж скажу... Стыдно, страшно... а скажу...

– Фу-ты, господи, – с тревогой заговорил Макарий, – стыдно? За кого же? Не может быть того, чтобы за себя. Быть того не может в жизни. Так за кого же? Скорее говори. Не пытай меня, старого... За кого стыдно тебе? Страшно кого?

– Его... – проговорила вполголоса Анастасия. – Алексея... Адашева...

– А, вот оно что! И ты доведлась? Ну, успокойся. Был он сейчас у меня, толковали мы... Сдается, Бог наведет на ум парня. А не наведет – мы и сами кой-что сдела... Да постой, погоди... Ты не только о страхе али о кознях вражеских поминала... О стыде толкуешь что-то? Чего стыдно-то тебе? Говори, дочка моя о Христе, государыня милая. Не алей, не соромься! Не мужа-мирянина зришь пред собою – пастыря духовного... старика древнего... Ну... ну...

И он даже стал гладить по волосам Анастасию, дрожащую от смущения, как гладит отец маленькую дочь свою.

Не глядя, опутив глаза, кое-как могла рассказать царица все, что случилось в ее покоях, у колыбели Дмитрия, когда пришел от заутрени туда Адашев.

И чем дальше говорила она, тем сильнее омрачалось светлое, ласковое сперва лицо архи-пастыря.

Кончила она – и воцарилось долгое молчание.

– Так, так, так... – произнес наконец Макарий. – Вон оно куды метнуло... Э-хе-хе!.. Окаянный-то, окаянный – что творит с душами людскими, богоподобными?! Спаси Христос, защити, Многомилостивый!

Он обеими руками осенил голову царицы, словно желая защитить своим благословением от чего-то ужасного, грозного.

– Толковала ты с кем из баб твоих о том, что было?

– Что ты, владыко! Нешто у меня язык повернулся бы? Тебе вон, и то...

– Так, так, так... И добро!.. И молчи!.. И никому... Слышишь? Царь оздоровеет – и ему нишкни! Помолчи об этом.

– И царю? И Ване? Да как же я? Разве можно? Грех ведь... должна ж я...

– Говорю, помолчи! Не совсем, а до времени. Пока не окрепнет царь. Это – раз. Да и по иным еще причинам потерпеть надобно. И Алешке поганому, нечестивцу-грешнику, виду не подай, что сердита на него. Словно и поверила ты, что пытал он только тебя, а не взаправду на грех склонял, тянул в геенну огненную... А там, когда время приспее, я шепну тебе... Вместе царю и поведаем, что во время его недуга было. Для тебя ж легче так будет.

– Правда, правда, так мне будет способнее.

– Ну вот, то-то ж! А мятежа боярского не бойся. Только бы царь с хворью своей вытерпел. Не убрал бы его у нас Господь! А трона у твоего княжича – боярам не отнять! За вас больше бояр и князей станет, чем за ворогов ваших. Я уж осведомлен. Так, гляди, не тревожься! Да лучше легла бы ты пошла. Коли ты еще захвораешь, кто станет Димитрия-царевича доглядывать? Береги себя... и на Бога уповай! И верь ты мне, старику, слуге Божию, – все образуется...

Так успокоив и ободлив царицу, Макарий проводил ее до переходов, сообщающих его келью со дворцом.

А затем, вернувшись к себе, велел позвать дьяка царского, Ивана Михайлова Висковского, сам же стал готовиться к торжественному служению, которое должно скоро начинаться в Большой Крестовой палате митрополичьей.

Как раз в ночь на Светлое Христово воскресенье совершился перелом в болезни царя Ивана.

Мозг больного царя неутомимо работал во все шесть недель, пока приступы сильнейшего жара и беспамятства сменялись более легким, но все же мучительным состоянием, когда болел каждый нерв и мысли тяжело, с трудом проносились в голове, все мрачные, зловещие, как на подбор, думы...

Война, пожар и кровь, пытки и убийства – вот какими кошмарами наполнялись видения Ивана, о чем твердил он в бреду своем. А после кризиса, уснув с полуночи, в тот самый миг, когда должны запеть гимн радости, гимн Воскресения Христова, – больной проспал без сновидений до полудня. И только перед тем, как пришло время просыпаться, когда сон стал тонок и тревожен, – не знал Иван, во сне, наяву ли? – но видел он, что подошел к его кровати кто-то, величавый, с открытым, но властным взглядом и, подавая ему красное яичко, произнес:

– Христос воскрес!

И трижды склонился затем над Иваном с освежающим, отрадным лобзаньем, словно ветерком прохладным обвевая пылающее лицо больному.

– Воистину воскрес! – ответил Иван, совсем раскрыл глаза и увидел ясно весь свой покой... И различил, как исчезал, расплывался в воздухе образ того, кто сейчас христосовался с ним. Даже казалось Ивану: в руке еще лежит красное яичко, поданное неведомым гостем... Да нет, сейчас вот узнал он, кто это был. Прапрадед его, святой Владимир. Он пришел из обителей райских к хворому правнуку. Конечно, с добром, с вестью о воскресении. Ведь окружающие и сам больной считают, что ему не встать. А вот сейчас что-то новое совершается в глубине, где-то во всем существе недужного царя. Он как-то сознает, что спасен, что опасность миновала. А эта уверенность вливает новую струю бодрости и сил в исхудалые члены, в измученную, упавшую, богатырскую раньше грудь государя.

Огляделся Иван – все тихо. Никого в покое. Даже очередной чтец ушел, должно быть, поесть в трапезную.

Невольно сразу мысль царя перенеслась к иной обстановке, к иным картинам. Он вспомнил свой въезд в Москву. Вспомнил восторг толпы... Казалось, снова гремят клики и ликование сотен тысяч народа. А теперь?..

Горькая улыбка мелькнула на побледневших устах Ивана. Он захотел вызвать иную, более отрадную картину. Его сын?.. Его Настя... Они были бы здесь, не отошли бы от него, если бы болезнь не грозила заразой... Они бы...

Но тут, на полумысли, на полуобразе он закрыл отяжелелые веки и сразу, мгновенно снова заснул.

Проснулся Иван часа через три, чуя в себе еще большую бодрость, хотя руки и ноги так слабы и тяжелы, словно налиты не кровью, а свинцом.

Пробудился Иван от легкого шороха, ощущая, что кто-то тут находится у постели, глядит ему в лицо. Проснулся царь и не шевелится, только глаза приоткрыл. Он не ошибся. Лекарь-жидовин, все время пользовавший больного, стоит у постели. За ним царь разглядел полную фигуру шурина Данилы, рядом – сухого, но костистого дьяка Ивана Висковатого, с широколобой, плешивой головою. Увидел Иван и плюгавого, вертлявого боярина Ивана Петровича Федорова, который с опаскою, но заходил к больному царю, надеясь, что, в случае выздоровления Ивана, можно будет хорошо учесть свою «бескорыстную преданность осударю-батюшке»...

Боярин постоянно принимал живейшее участие в каждой смуте, «изловлен на воровстве», на подстрекательстве черни к убийству Михаила Глинского, перенес ссылку на Белозеро. Но с усилением Захарьиных – снова возвратился в Москву, вертелся и вблизи Ивана, и при княгине Евфросинье Старицкой: всем служил, всех продавал и всем был вреден, кроме себя самого, извлекая мелкие выгоды из своих мелких и крупных низостей. Человек невежественный и фанатически верующий в произвол судеб, он приходил к заразному Ивану, решив в душе: «Чему быть, того не миновать!»

Явной опасности он не видит в подобных посещениях. А что дохтура и лекаря царские толкуют, так они и врать здоровы. Ведь надо же за что-нибудь денежки грести.

За Федоровым в просвете ближнего окна темнела крупная, медведеобразная фигура окольничьего боярина Льва Андреевича Салтыкова, недалекого, преданного долгу присяги, грубого на вид человека, но тоже себе на уме. Из своей показной прямоты и грубости небогатый, не родовитый, а скорей – худородный боярин умел извлекать немало выгод для себя лично и для близких родичей. Служа всей душой государю, господину и повелителю, окольничий не упускал случая подчеркнуть всю преданность и пользу, приносимую его службой.

– Проснулся осударь! – негромко заметил Данило Юрьин.

– Вижу! – отозвался лекарь.

Испробовав пульс Ивана, ощупав его голову, тело, дав выпить из чарки какого-то настоя, – лекарь, отходя, произнес:

– Толкуйте теперь... Нет жару... В сознании государь. Если не ошибаюсь я, самое тяжкое время миновало. На поправку царь пойдет...

– Ох, дай-то Господь! – вырвалось у всех, и они стали креститься, шепча: – Дай, Господи, подай, Господи!..

– Царь-государь! Родимый ты наш! – негромко начал Данило. – Как можешь? Легче ль тебе Бог дал? Дело есть великое. Не в тяготу ли будет? Потерпеть бы, пока совсем одужаешь... Да никак невозможно...

Слабая, легкая краска проступила на мертвенно-бледном, исхудалом лице царя. Хотя болезнь притупила в нем способность к восприятию, но и малейшее волнение было тяжело для истощенного организма.

– Говори... я слушаю... я все пойму... – тихо, с остановками произнес Иван, не шевелясь по-прежнему ни единым суставом, окованный полной телесной слабостью.

– Перво-наперво, вот послухай, что боярин твой, Ивашка Петров, баять будет. Какие речи промеж бояр и воевод пошли, как стало ведомо, что наутро – всем присяга, креста целование приказано за княже Дмитрия цареванье, за власть государскую... Бунтуют, слышь, людишки твои наихудшие... холопы нерадивые! На нас ополчаются, на весь род наш, захарьинский, будто мы тебе и царству не слуги и помощники, а лиходеи... Вот, послухай...

И Данило отошел, давая место у кровати боярину Федорову. Тот подступил поближе, с земными поклонами и раболепным выражением на подвижном лице, в скользящем взгляде мышиных, бегающих глаз.

– Говорить ли, государь?

– Говори... все сказывай...

– Лекарю-жидовину да монашку ты бы повыйти приказал.

Иван сделал знак, и Юрьин выпроводил из покоя обоих. Не переставая оглядываться, негромким, быстрым говорком, с какой-то бабьей интонацией доносчик-боярин зачастил:

– Ныне, опосля литургии Божественной, как за тебя, пресветлый осударь, в твое место царское – братец твой, князь-государь Юрья Васильич здорованье принимал княженецкое, да боярское, да воеводское и христосованье давал свое государское, – немало всякого чина люду во дворец твой государев сошлось-понаехало. Сени, дворы и переходы полны. И тут о крестном целованье было сказано. И в тот же час разные пустошные речи пошли. И такие-то речи, что сказать боязно...

– Говори!

– А баяли, царь-осударь, все люди знатные: князь Петр Патрикеев, Щенята по прозвищу... Пронские князья, братовья и сродники ихние... Да Ивашка же Турунтай, и Данилка, Дмитриев сын, да другой Ивашка, Васильев сын, што с самой Прони... И Одоевские, сродники княгини Евдокеи, да сам Володимир, князь-осударь, брательник твой... И Мезецкий, и Сенька, княжич Ростовский, и Оболенские туды ж, и Оболонские – худородники, лоскутники... И все заодно. И баяли они, осударь, што креста им княжичу Дмитрию Ивановичу не целовать и «пеленочному царю» не служить. Да и служба та будет не царскому дитю, а пронырам Юрьевым-Захарьиным. Они-де, чрез царицы-матушки заступку, и наладили-де это крестное целование, себе на величанье, а всем истым боярам и князьям на умаленье. И как почали им другие люди на тех речах выговаривать, так чуть до драки дело не дошло. Не поглядели, что и во дворе они в твоём, царском. Добро еще, что без наряды воинского, без ножей все сошлись... И много еще пустотных речей было говорено, да не упомнишь всего. Больно язык кругом силен стоял, ровно у Крестца кремлевского твоего, осударь, в день базарный! Вот... Я все поведал тебе, царь-осударь. Не обессудь на усердной службишке, хошь она и не по разуму мне...

И, еще раз отдав земной поклон, доносчик отступил, наблюдая исподлбья за выражением лица Ивана.

Тот слушал, закрыв глаза, не меняя позы, не дрогнув ни единым мускулом. Только вокруг губ замечалось легкое подергиванье, от которого усы Ивана слегка шевелились. Помолчав немного, царь раскрыл глаза, перевел их на Салтыкова, который теперь занял место Федорова, и слабо спросил:

– Ну а ты?

– Да и у меня, осударь, почитай, те же вести, что и у боярина, – сипловатым, грубым голосом своим забасил Салтыков, хмурия и сводя и без того нависшие свои густые брови. – Вышел я, знамо, нынче ж из двора твоего царского, сел на коня... Ну, знамо, еду по площади домой... И по пути нагнал меня, знамо, приятель давний, князь Дмитрий Немаго... Оболенских который... сын Иванов старшой... Пытает меня: «Крест целовать станешь ли?» – «Как, говорю, не целовать? Царю целовали крест на послушании, ему и роду его всему царскому... Так и царевичу Димитрею надо ж, знамо...» А он на ответ: «И глупо, говорит, осел ты, грит,

Лев!» Это он меня-то... «Я, грит, не поцелую. И не один я, все бояре первые. Даже близкие люди к царю: Адашев, Курлятев да Вешняк воевода с нами же будут».

– Адашев? – вырвалось у царя.

– Адашев, знамо... И говорит ошшо: «Как-де служить малому помимо старого?» – «Какого, пытаю, старого?... И царь у нас молодой, и наследник его – малолетен же!» А Митя засмеялся и бает: «Дурья голова! А князь Володимир Старицкий? Вон кто старый... Он и годами царя старше, самый старшой в роду! Не по закону осударь покойный, свет Иван Васильевич, да отец его, Василий-князь, – обычаи царские порушили. Не сыну по отце на трон садиться, а брату ближнему!...» – «Э, говорю, не к рылу-де нам в царских делах разбираться. Их государское дело. Царь наш есть царь. Богом помазанный». – «Ну, грит, не в царских, так в своих делах разберися! Кому власть-сила достанется, коли малолетнего Димитрия нам навяжут? Захарьиным, мздоимцам, худородным хапальщикам? Мало они-де смуты сеяли? Кто довел, што Михайлу, дядю царева, на клочья чернь разнесла? Они же! Вот и нас так всех подведут да станут величаться, землю обирать. Не допустим того! Хошь за бёрдыши взяться придется, а не допустим!...» Тут уж я и слушать не стал. Обругал добре Митьку, плюнул и прочь поехал! Вот, осударь, я все и сказал. Не погневайся на худом умишке. Я, коли что, – больше кулаком оборонить тебя сумею, чем речами хитрыми...

И отошел с земным поклоном Салтыков.

Висковатов тут выдвинулся.

Но царь, видно, и позабыл обо всех, подавленный известиями, сейчас сообщенными безо всякой осторожности слабому, больному человеку. Он снова закрыл глаза и лежал, тяжело дыша ослабелой грудью.

Постояв немного, дьяк слегка откашлянулся, напоминая о себе.

– А! И ты еще здесь, – еле слышно произнес Иван, не раскрывая глаз, – толкуй уж заодно... Скорее бы конец... Допью свою чашу горькую...

– И, што ты, осударь! – сильно, спокойно подхватил дьяк, понимая, какое состояние овладело Иваном и сразу желая изменить направление дум у больного. – С чего взял, милостивец, што с худом я к тебе? Нешто не слыхал: от владыки я. А от него, молитвенника нашего, тебе худые вести когда были ль? Николи! И теперя я с оливою, с веткою, значит... Видишь, какого лысого голубя Бог тебе дал...

Болен был Иван, удручен всем, сейчас слышанным. Но успокоительные речи дьяка мгновенно воскресили надежду в сильном духом царе, а шутка даже вызвала слабую улыбку на лице.

Улыбнулись и окружающие.

– Вот спасибо! – уже гораздо живее заговорил больной. – Выкладывай же вести свои добрые... Клади свою ветвь масличную на язвы моей души болящей... Благовествуй, старый грешник.

– Грешник... О-о-ох, грешен, осударь... А, думаю, покаюсь – и Бог все грехи простит! А владыко тебе сказывать велел, штоб ты, осударь, слыша вести плохие, не кручинился. «Сварлива баба, да зуб у ней нет!» – ведаешь присловку? А то ошшо: «Сердит, да не силен. Так – чему брат!...» То-то и оно-то! Ведомо про все владыке, что на Москве творится. А он говорит: «Бог за тебя и за царевича твоего!»

– Бо-ог?.. Бог на небеси! Там его правда. А что на земле бывает – я сам видал... сам претерпел... И ежели Митя мой...

– Бог на небеси, так люди здесь сотворят Его святую волю. Слышь, послушай: хто да хто за тебя... И главный воевода стрельцовый, князь Воротынский, Володька, и брательник его, Михайло, и Мстиславский, и Серебряные, оба брательника... Все воеводы, все бояре думные, и попы, и собор весь священный, и вся Москва, и вся земля... Главное – стрельцы за нас! А они не выдадут. Сам ведаешь... Силой, добром ли, а присягу принять всех заставим, записи отберем! Так не кручинься, осударь!

– Ну и то... Спасибо тебе! Челом бью отцу и владыке моему, молитвеннику, заступнику извечному. Воскрешают меня речи такие... Истинно говорю! Вот что вы, бояре, Солтык, приятель, и ты, Петрович! – обратился Иван к Федорову. – Спасибо и вам на службе верной. Оздоровлю, Бог даст, – не забуду послуги вашей... А покамест повыдьте... Надо нам тут с шурином да с дьяком по семейности потолковать...

– И, царь-осударь! Твои слуги – холопы верные. И ушли мы, и нет уж нас! – проговорил Федоров и, правда, словно испарился из покоя.

За ним, отдав поклон, грузно вышел Солтыков.

– Слышь, дьяк, и ты, Данило! – начал Иван, когда закрылась дверь за ушедшими. – Что впереди будет – Господь Один ведает. Как-никак, а вон бояре ныне сына мово на государстве не хотят видети. И буде, придет на то воля Божия, – меня не станет... Вот, на кресте мне на моем поклянитесь обое: волю мою исполнить обещайте...

Юрын и Висковатов, пораженные торжественным, строгим выражением лица и словами больного государя, невольно протянули руки к большому золотому кресту с мощами, висящему на груди Ивана:

– Клянемся, осударь, все по слову, по воле твоей выполним.

– Вот, вы клялися, так помните ж! Сохраните и по смерти моей верность сыну моему, Димитрею... И не дайте боярам извести его некоторыми обычаями, ни отравой, ни удушьем, ни потоплением... ни в темницу заключить не давайте. А в тот же час, как помру, потайно возьмите наследника и побежите в чужую землю, где Бог наставит, что побезопаснее... Клянитесь на том.

– И в другом клянемся, государь! – повторили присягу оба, боярин и дьяк.

– Ну вот... Теперя я буду поспокойнее!.. А казны вам будет заготовлено немало... и золотой, и всякой... Я уж скажу Головину. Только пошлите его ко мне. Не сейчас, погода малое время. Силы теперь оставляют меня... Скорей бы лека...

Но он не договорил и впал в беспамятство от слабости, усиленной еще всеми предыдущими волнениями, которые и здоровому не каждому человеку были бы по плечу.

Настало утро другого дня, назначенного для принесения присяги младенцу-царевичу. Рано проснулся Иван, и первый вопрос его был обращен к лекарю, который дежурил всю ночь у постели:

– Ну, Схарушка, прямо молви, жидовин: как мое дело? Скоро ли помру али жить еще буду?

– Ну а ты сам, великий осударь, – как ты сам себе думаешь? – по обычной семитической привычке вопросом на вопрос ответил Схарья, лекарь царский, почесывая горбинку на носу.

– Да как тебе сказать? Словно бы полегче мне, и голова яснее... Да не верится. Ты – знахарь... Тебе и святцы на стол... Ой, нет... Грех какой! Жиду – про святцы помянул... Ну, говори уж... Покинь свои извороты поганные...

– И если я был Бог, и я бы прямо сказал: будешь жив и здоров и проживешь долго на счастье своих людей. А я только бедный лекарь, раб Господа Саваофа... Что я могу сказать? Мое дело – лечить и помогать. А здоровье и жизнь от Бога. И Он не откажет в том царю, чего в избытке отпускает вон монаху твоему, который поест, попьет и бормочет порой тебе разные измышления ума человеческого...

– Ну, пусть так. Умру ль, жив ли я буду, нечего гадать! А нынче – много сил мне надобно. Так дай мне чего-нибудь. Хоть это, жидовин лукавый, сделать сумеешь ли?

– Отчего ж мне не суметь? Я много умею... Мне только одного пустяка самого не хватает, чтобы я философский камень получил, «Львом Золотым» рекомый... Чтобы я мог из всякой вещи, из воды, из воздуха золото плавить!.. Чтобы я... Так почему ж я не сумею дать тебе укрепительное питье, государь великий?.. – вдруг, перебив себя самого, закончил свою речь Схарья и принялся за лекарственную стряпню.

Правда, питье, которым часа через два угостил Ивана лекарь, – словно огня и сил влило во все жилы и суставы больного. Он поднялся на подушках и мог принимать гостей и вестников, которые заглядывали к царю в опочивальню, всю наполненную ароматами курений, запахом жженого можжевельника, трещавшего и сгоравшего на медленном огне жаровни в одном из углов покоя.

Все, что делалось во дворце, сейчас же сообщалось Ивану. А сюда с рассвета стали съезжаться на конях, и в колымагах, и в каптанках – вельможи московские, воеводы, бояре, князья и служилые люди, думные дьяки и прочий люд. Попозже – появились послы чужеземные, какие только в то время проживали на Москве. Они должны были видеть совершение присяги и сообщить о ней своим государям.

Только, минуя Архангельский собор, до церкви Благовещения, что у дворцовых сеней, – могли доезжать самые знатные из посетителей Кремля. Здесь все выходили из экипажей, слазили с коней и шли дальше пешком до той палаты, где каждому указано было ожидать зова в место общего сборища. Свита послов оставалась частью в Посольском приказе, расположенном против Звонницы Великой, через площадь от которой находился Митрополичий городок; частью же люди следовали за послами в самый дворец.

Общий сбор на этот раз был назначен в Передней Избе, непосредственно примыкающей к Каменным палатам, где в одном из покоев лежал Иван.

Рядом с опочивальней царя, в просторном и светлом покое, собрались все близкие к нему люди или те, кто выдавался родом и знатностью своей, кто не желал смешиваться с толпой служилых людей и придворных. Небольшие сенцы вели из второй комнаты в Переднюю Избу, обширный и высокий покой, где могло вместиться много народу, как и требовалось в данном случае. Почти посредине горницы, против входа, был установлен там аналой, на нем приготовлено Евангелие.

Двери в опочивальню Ивана раскрыты, и тяжелая коровая завеса отделяет от нее передний покой. С каждым часом все больше и больше народу собирается здесь. Говор, стук дверей, то и дело впускающих новых посетителей, – ясно доносится до царя.

Все находящиеся в покое резко делятся на три группы: сторонники Ивана, друзья Владимира и люди, которые не пристали явно ни к той, ни к другой стороне, а переходят от человека к человеку, толкуют о чем-то негромко, убедительно жестикулируют – словом, находятся «в движении» и не позволяют решать, за кого они станут в последнюю минуту.

Каждый, входя, крестился на иконы, отвешивал земной поклон на дверь, за которой лежал Иван, кланялся всем присутствующим и затем занимал определенное место. «Царские люди» подсаживались к князю Мстиславскому и к Михайле Воротынскому, которые сразу выдвинулись в качестве коноводов «царева гнезда»... «Княжевы люди» – сторонники Старицкого с князьями Щенятей Патрикеевым, Одоевским и Шуйским во главе – сгрудились у окна, недалеко от входной двери, оживленно обсуждая план дальнейших действий. Они были в особенно напряженном, приподнятом настроении. Тут же волновался, о чем-то хлопотал отец любимца и руководителя царского Федор Адашев, недавно еще пожалованный в окольничии, заядлый недруг Захарьинского рода. Самого Алексея не было. Не пришел и Фунников, Никита, второй «казначей» Ивана. Он сказался больным, так же как и князь Дмитрий Иванович Курлятев. Тесть полоумного Юрия, хитрый старик князь Д. Ф. Палецкий затеял такую же двойную игру и решил, что не следует соваться в первую голову, а лучше поглядеть со стороны, чья возьмет, – туда уж и примазаться. Вот почему в назначенный час он не явился во дворец, обещая быть к вечеру. «Недужится-де малость...»

Не было и самого Владимира Андреича. Но его ждали с часу на час. Зато все остальные, гордые родом, если не блещущие дарованиями, князья, бывшие дружинники московские, – все налицо: и Пронские, и Мезецкие, и Заболоцкий, князь Ростовский молодой, и Челяднин, из ненависти к Захарьиным – примкнувший к давним недругам своим. И Оболенский-Немаго тут,

и Шереметевы... Князь Андрей Курбский в сторонке стоит, слушает, что будет. Молод да не глуп князь. И против царя ему неохота идти, да князя Владимира, своего прямого военачальника, проявившего так много мужества в боях под Казанью, – в обиду давать нельзя. И жалеет молодой, простодушный воин, что пришел, что вынужден был прийти, так как его стрельцы в карауле нынче. Жалеет он, что судьба поставила его в такое для честного человека затруднительное положение. Ну да авось послушает он: что тут люди станут толковать? – и уяснит себе хорошо, на чьей стороне право и правда... А уяснив, бесповоротно пойдет по правому пути.

И чутко ловил каждое слово Курбский.

Но молодые князья больше про коней, про охоту толкуют, про девок полногрудых, мясистых, сенных... Старики – на свои недуги жалуются... И лишь изредка словом осторожным о деле помянут, для которого созваны. Видимо, Владимирова приходу все ждут-дожидаются.

Вдруг шум послышался за окнами, конский топ, звон сбруи конской, звук оружия.

– Князь... Сам князь Володимир пожаловал! – пронеслось в горнице.

И все не ошиблись. Конечно, только князь мог подъехать так близко к дворцу, к внутренним строениям, верхом, да еще с многочисленной свитой из вершников и своих стрельцов. В обычное время с более скромным количеством провожатых являлся к Ивану князь Старицкий. Но теперь все поняли, что осторожность не мешает. Вот почему, кроме обычных челядинцев и ратной охраны, по сану присвоенной Владимиру, – он и мать его, честолюбивая старуха Евфросинья, урожденная Одоевская, всех живущих в Москве новгородцев к себе зазывали при помощи Шуйских, поили, задаривали их, равно – и московских боярских детей из числа тех, которые под защитой князя и княгини, под крылом Старицких – в люди выходили.

Из этих-то людей составилась сильный отряд телохранителей, готовых грудью защитить князя Владимира, на которого, по словам княгини-матери, «козни во дворце царевом куют». И дружина эта все растет. А в дальнейшем – еще более грозное нечто затеяно, о чем потихоньку Евфросинья с Иваном Михайлычем Шуйским шепталась, с боярином митрополичьим по званию, с бунтарем и смутьяном по натуре.

И сейчас этот боярин здесь, на месте... С низким поклоном встречает входящего князя.

Владимир, войдя довольно быстро в горницу, перекрестился на образ, отдал всем поклон и спросил:

– А что брат-государь мой? Не лучше ль ему?

– О-хо-хо!.. Где лучше?.. Государе-княже, с чего лучшему быть? – с сокрушенным видом отвечал Шуйский, приняв вопрос, словно бы он был обращен к нему одному. – А все же ладней будет, сам не пройдешь ли, осведомишься? Лекарь сказывал, теперя не так уж опасно с государем видеться... Не больно уж лютует зараза хворобная в батюшке-царе... Так только ен замаялся, сказывали, на ладан дышит! – вполголоса заключил речь свою боярин, оглядываясь на дверь царя, на кучку его сторонников, толпящихся поодаль.

– И то, пойду проведаю... К одному уж, и о крестном целованье потолкую, о нынешнем. А то вот зовут на дело, а в чем оно – и не сказано. Как крест целовать? Каки таки записи давать? Оно – не шутка. Где рука, там и голова... сказано!..

– Да, да... Конешно... Вестимо!.. – отозвались те бояре, «владимирцы», которые сгруппировались у окна.

– А моя дума такая, – степенно заговорил Мстиславский, – что креста целованье и запись целовальная у царей наших завсегда одинаковы были. Чего тут еще загадывать, царя только зря тревожить недужного?..

– Ну, это мне ведомо, какую я думу думаю! – раздраженно отозвался Владимир и своей валкой походкой тучного, изнеженного человека пошел к дверям, отделяющим первый покой от опочивальни царя. Распахнув и снова опустив за собой ковер, Владимир впервые очутился перед больным Иваном и даже чихнул от сильного запаха курений, наполняющего комнату.

– Вот, добрая примета! Здрав буди, царь-государь! – отдав поклон лежащему царю, проговорил князь, стараясь получше взглядеться в изможденное лицо царя, чтобы решить самому, жилец ли не жилец Иван на белом свете.

Но, как нарочно, царь поместился на кровати так, что свет падал ему прямо в затылок, оставляя все лицо в тени. А сам Владимир – стоял в полосе света, бросаемой внешним утренним солнцем в слюдяные окончины покоя.

– Спаси ты Бог на здравствование, брате! Аминь!.. – совсем слабым, умирающим голосом заговорил Иван.

Почему-то царю подумалось, чем слабее он покажется теперь брату и его сторонникам, тем скорее выплывут наружу замыслы врагов. А Ивану страстно захотелось узнать истину: кто друг ему среди окружающих трон князей и бояр? Простые служилые люди, созданные и возвышенные юным царем по личному его желанию либо по указанию Сильвестра с Алексеем Адашевым, – те в счет не шли. Они были преданны по необходимости. Созданные Иваном, они погибнут, как только того не станет. Их прямой интерес – стоять за царя. Но остальные? Те, кто уверял его в преданности, вымаливал награды и подачек? Эти ехидны-царедворцы, злобу и коварство которых Иван изведать уже с младенчества? Изменились они или все те же остались?

И больной, еще бессильный телом, Иван уже воспрянул духом, решил затеять «царскую игру»... Людские сердца изведать пожелал.

При виде надломленной фигуры царя, при звуке его умирающего голоса – плохо скрытая радость озарила полное и маловыразительное обыкновенно лицо князя Старицкого. Но он с притворным соболезнаванием сейчас же заметил:

– А видать, слаб ты еще, брате-государе? Вон и голоса, почитай, не чуть твоего!

– Куда чуть?.. Умираю, брате... Только и держусь, чтобы сына на трон посадить. Дитя неразумное. Митя мой. Кто об нем подумает без меня?

– Не гораздо молвишь, государе-брате. А я да Юрий – нешто мы чужие ему? Кажись, дядьями приходимся. Кому в обиду дадим ли?

– Вот и я... тако же полагаю, брате... спаси ты... Христос... што порадовал словом своим болящего, навестил... хворого... Так приступайте с Богом! Там, чай, все уж готово? – прежним угасающим голосом обратился Иван к Висковатому и Даниле Михайловичу Захарьину, стоящим тут же поодаль.

– Готово, осударь!

– Нет, ты погоди! – нетерпеливо перебил Владимир. – На кой ляд, прости Господи, присяга вся затеяна? И в чем присягать мне? Каку запись подписывать? В толк никак не возьму! Ну, хвор ты теперя, брате-государе. Да ведь дело, бают, у тебя на поправку идет! Чего ж людей булгачить? Меня, дядю, – племяннику-пеленочнику присягать неволить! Не бывало того в роду нашем царском, да и быть не надобно! Брось, брат Иван. Прямо говорю: лучше будет! – уж с явной ноткой раздражения, откинув дипломатию, закончил речь Владимир.

Судорожно вздрогнуло все большое, исхудалое тело царя. Вот она, решительная минута начинается!

– Не надобе присяги, толкуешь ты, брат? А как же, коли я помру? Кому стол достанется? Лучше, говорю, при жизни я...

– Э, заладил: помру, помру... А и будет воля Господня, так Он же укажет: как быть? Знаю, кто тебя на присяги на энти подбивает... Они вон! – и Владимир презрительно кивнул головой на Захарьина. – Молодцы – довольно всем нам ведомые! Так не бывать по-ихнему! Я – прирожденный государь, не похуже тебя, брате! Младенцу не служивал и креста не целовал... А им, холопам, што за Митриевой люлькой встанут да почнут нами, князьями первыми, пошвыривать, – умру, не покорюся!

И Владимир вскочил даже с лавки, на которую опустился, у самой двери, когда вошел.

– Такова твоя речь, брате?! – дрогнувшим голосом отозвался Иван. – Что же поделаться нам? Ты сам ведаешь, хорошо ли, дурно ль творишь, коли не хочешь креста целовати! На твоей душе все, что потом станется! А мне до того дела нет. Господь видит... Его святая воля! Ступай себе с Господом.

Голову опустил, задумался князь Владимир.

Обращение Ивана к его вере, к его лучшим чувствам – тронуло князя. Конечно, всякому ясно, какая невзгода, какое кровопролитие настанет неизбежно, если Владимир с приверженцами своими решит изменить, порушить порядок престолонаследия, введенный Иваном Вторым, если вернется старый обычай: переход власти к братьям царя! В самом деле, уж не кинуть ли все? Не присягнуть ли Димитрию?

Но тут взор Владимира упал на Захарыина, который, наклонясь к Ивану, пить ему подавал и что-то взволнованно нашептывал больному шуруину.

– Э-э-эх, кабы не энти гады! – чуть не вслух произнес Владимир, быстро отдал поклон царю и вышел молча в первую горницу.

Все бывшие тут бояре и князья – так и слились в одну тесную толпу у самых дверей и чрез ковер отчетливо слышали каждое слово громкой речи Владимира, угадывая тихие фразы царя.

Когда Владимир, с надменно поднятой головой и угрюмо стиснув губы, появился по эту сторону ковра – вся толпа шарахнулась и разделилась на две половины: справа – его приверженцы, слева – враги или, вернее, – противники замыслов его и честолюбивой вдовы, княгини-матери, Евфросиньи Старицкой.

С обеих сторон силы стояли почти равные. И если слева пятью-шестью головами числилось больше, так родовитостью и знатностью своей – партия Владимира перевешивала царскую, куда замешалось немало новых, худородных людишек...

Все это сразу взвесил Владимир, понимая, что он совершил сейчас решительный шаг, за которым близка и борьба не на словах уже, а светлыми мечами.

Два человека только не кинулись в сторону, не поспешили уступить дороги князю – сегодня, а завтра, может быть, – царю Владимиру всея Руси! Это были – князь Мстиславский, Иван Федорович, кравчий, родственник и друг Ивана, и второй – князь Владимир Иванович Воротынский.

Последний, пылкий, прямой по характеру, больше воин, чем царедворец, – не мог сдерживать негодования, владеющего им, и громко заговорил:

– Ай, княже Володимир Ондреевич! Вот што негоже – то негоже, осударь! Тебе, княже, – нам бы головой быть, к делу привести государевых ослушников... А ты первый царское слово рушишь, присяги не примаешь! А вить раз уж присягал: царевой воли слушаться... Не обесчуди, князь, лучше бы тебе не упрямливаться... Больному царю кручины не принашивать... Дай запись и крест целуй. А тамо – и мы за тобой с Божьей помощью. Челом мы тебе бьем, княже! Покорно о том просим.

Желая смягчить горечь укора своего, посланного лицу, во всяком случае, более высокому, чем сам воевода, – Воротынский отвесил земной поклон Владимиру.

– Не упрямливай, княже! – поддержали Воротынского многие из царевых приверженцев и тоже поклонились при этом князю Старицкому.

Тот стоял молча, надменно улыбаясь, стараясь подавить вспышку негодования, вызванную речью молодого еще, хотя и отважного, прославленного воеводы. Окинув взглядом тех, кто поминал ему об уступке и кланялся, – князь взглянул и на сторонников своих.

Те молча сплотились и стояли почти за плечом у князя.

Тогда он усмехнулся еще презрительнее и небрежно уронил Воротынскому:

– Молод, глуп ты еще, князек. Ус-борода не поотросли еще у тебя, а меня, князя прирожденного, брата государева, – учить задумал! Не то чтобы мне указывать, а будь с умом ты,

парень, – маку бы, зерна бы просяного не посмел бы перечить... Вот оно што! Да ноне плохие порядки на свете пошли: яйца курицу учить думают!

Сказал и, не слушая уже, что бы могли возразить ему, – пошел к дверям.

– Стой, погоди, князь-государь! – снова заступая дорогу Владимиру, быстро заговорил окончательно раздраженный и оскорбленный Воротынский. – У козла борода велика, да все он козел, батюшка! Вот ты энто бы помнил! А я хошь и не брат осударев, а дал душу свою осударю своему, царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси!.. И сыну его, княжичу Дмитрию... Крест целовал, чтобы служить мне им двоим во всем не облыжно, жизни не щадя. И говорить мне с тобою – они же приказывали, вот я и говорю... за них, за самих, за осударей моих, Богом данных! Да еще послухай, что скажу: буде где доведется, по их, осударей, велению, я и драться с тобой до последнего часу смертного готов! Бог свидетель. А как драться я горазд, – ты видывал! Под стенами, под Казанью агарянскую...

И воевода уж с угрозой положил руку на рукоять меча, который по праву начальника дворцовой стражи мог носить даже во дворце.

Говор испуга и возмущения пробежал между боярами Владимира. Из царских сторонников – кой-кто двинулся вперед, словно готовясь удержать руку Воротынского, не допустить до кровопролития.

Владимир тоже схватился за рукоять кривой восточной сабли, которую не снял, даже входя в спальню Ивана. Несколько мгновений противники мерили глазами друг друга. Затем Владимир, видя, что Воротынской не думает сейчас же привести в исполнение угрозу, опустил руку, повернулся к нему спиной, отдал поклон всем и медленно вышел из горницы.

Воротынский, поглядев вслед князю, проворчал какое-то оскорбительное замечание себе под нос и отошел к сторонке.

Тогда заговорил дьяк Висковатов:

– А как мыслите, князья и бояре? Нам все же подобало бы волю царя поисполнити. Князь – одно дело, мы – иное дело. Тамотка все изготовлено. И к крестному целованию можно приступить. И бояре молодшие собраны же...

– Че-е-во?! – резко откликнулся Петр Щенятя, пришедший во дворец уж порядком навеселе, как часто водилось у князя. – А энтаго, дьяк, не выкусишь? Казаки, слышь, бают: поперед деда не суй рыла в пекло? Умны собаки чубатые.

Пускай допрежь князь крест целовать станет да вы, прихвостни дворовые. А мы ужо потом, опосля...

– Да, мы опосля!... Совсем опосля! – вдруг вырвался из толпы, тоже совсем хмельной, окольный Федор Григорьевич Адашев, «для храбрости» немало пропустивший романа натошак. – Мы тоже не очёски какие! Сам с усам! Знаем, где раки-то зимуют. Слышали, бояре, князь-то што баял? Служить нам не младенцу – царю пеленочному, а дядьям евонным, живоглотам, Захарьиным... Царю хорошо: ён помрет – и крышка! А нам, бояре, будет каково?!

– Эй, ты, мелево пустое, колесо новое, давно ль из грязи в князи попал?! – строго прикрикнул на выскочку Мстиславский. – Помолчал бы вовсе!

– Не! Пошто ему молчать?! – загалдели другие сторонники Владимира. – Молчать ему не мочно! Он правду молвил... Мы все за его...

– Да я – не то!.. Я самому царю скажу! – онаглев при виде сильной заступки, продолжал бурлить честолюбивый и недалекий старик, зарвавшийся окончательно. – Вот я сейчас!..

И, раньше, чем ему мог кто помешать, – он уже стоял по ту сторону ковра, кланяясь земно Ивану, на лице которого презрительная гримаса сливалась с выражением крайнего негодования. Всего ожидал царь, только не подобной выходки одурелого, пьяного старика, отца своего любимца-наперника... И почему не слышно голоса Алексея Адашева? Неужели он с умыслом не пришел и правду сказали про него, что он тоже стоит за нового наследника, против Ивана, против Дмитрия?!

Между тем старик Адашев, отвечивая поклоны царю, бормотал:

– Царь-осударь! Тебе, осударю... ведает Бог да ты, осударь... Тебе и сыну твоему, царевичу Димитрию, на многие лета служить мы во как! Всею душой то ись готовы! И крест целуем... Во, хошь сичас!.. – И неверной рукой старик полез за ворот рубахи, желая вытащить наружу свой нательный крест. – А Захарьиным нам, Данилке с братией его со всею... Не! Им не служить, царь-осударь, как и не служивали!.. Не! Сын твой, царь-осударь ты наш милосливый, ошшо в пеленицах... Так надо говорить!.. А володеть нами по твоей смерти, царь-осударь, Захарьиным, Данилке ж со братией... А мы уже от бояр и до твоего полного возраста, царь-осударь, беды видали многие лютые, осударь!.. Во...

И он снова стал учащенно кланяться Ивану, пока, по знаку последнего, вошедший вслед за Адашевым Висковатый не вытеснил за порог старика.

Выслушав затем, что сказал ему Иван, дьяк сейчас же снова появился перед всеми боярами, вместе с Захарьиным, который до того времени неотлучно находился при больном.

– Слушайте, князья и бояре, что царь вам сказать велит на речи ваши пустошные! Слушайте все!

От звука громкой речи дьяка – утих и говор и перебранка между боярами, не прекращавшаяся все время с минуты ухода Владимира из горницы.

– Вот што царь сказать поизволил! – торжественно начал Висковатый. – «Вижу я жесткость и твердовийность всю вашу боярскую, на кою и в младых летах нагляделся и натерпелся вдосталь! И коли вы сыну моему, Димитрею, креста не целуете, – ин, надо быть, што у вас иной государь на примете есть окромя меня, богоданного?! А целовали есте мне крест, и не единова, штобы есте мимо нас – иных государей не искали. Как Бог един в небе, так и я, царь, у вас на земле! И ныне привожу я вас к целованию крестному и велю служить вам сыну моему, Димитрею, а не Захарьиным... И аз с вами много говорить не могу, недужен весь. Може, при часе своем смертном лежу. А вы о своей души спасении забыли: нам и детям нашим служить не хотите! На чем крест целовали, клятву давали великую – и того не помните! Одно знаете: кто государю в пеленицах служить не захочет, – тот, видимо, и великому князю, государю, не захочет служить, если б я и здрав стал. Так я и знать буду! И еще скажу: коли мы вам не надобны, – грех на вашей душе!..» Вот што поведать мне от его светлого имени приказал государь наш пресветлый! – уже обыкновенным своим голосом заключил дьяк.

Глубокая, мертвая тишина воцарилась в обширном людском покое. Укор царя, напоминание о присяге, – затронуло всех за живое, говорило о долге, о законах церкви, обо всем, что упустили из виду в пылу борьбы все эти грубые, лукавые, но фанатично верующие люди.

Еще мгновенье, прозвучи чье-либо сильное, вразумительное слово – и дело было бы повершено бесповоротно в пользу Ивана и Димитрия.

Но этого не желал хитрый Иван Михайлович Шуйский. Он твердо помнил, что только в мутной воде рыбу и ловить!

И внезапно, всхлипывая, утирая притворные слезы рукой, заговорил князь елейным, прерывающимся голосом, подойдя к порогу спальни и обращаясь к самому царю, куда ушел сейчас же Висковатов, окончив свою речь.

– Царь-осударь! – начал Шуйский, нервно собирая и беспрестанно вытягивая вниз свою длинную, но жидковатую бородавку. – Светик ты наш, солнышко красное, продли тебе Господь веку на многие лета!.. Разве же ж мы не слуги твои? Разве же ж мы по твоему приказу бы не сделали б? Ну, пушай нам в кабалу к Юрьиним, к Захарьиным, к худородным, к лукавым идти! Ну, пушай нам животишек, последней худобишки, землишек наших избыться... Пушай сызнова нас, бояр родовитых, станут на правежи таскать, в ямы сажать, в темницы глубокие, как оно в малолетство твое, осударь, бывало!.. Пусть давить, топить, жечь да резать учнут... Ты велишь, – мы твои слуги, рабы неизменные! Власть предержаша, – одно слово!.. И присягнуть мы готовы, крест целовать, давать записи. А только то еще скажи нам, осударь: перед чьими

очами вершить нам святое дело? Ты – болен, осударь... Ни нам к тебе, ни тебе к нам не мочно! Да и со крестом святым войти в храмину твою боленную не подобает опять! Там – нечисто больно. Царевич Димитрий – дите малое; што перед немым, што перед грудным – все едино: не присягнешь, хотя бы и охота была. Так не лучше ли погодить, покуда гораздо окрепнешь ты, осударь? Вот тогда и присяга наша, пред очами царя данная, – крепка станет! Так ли я говорю, князья и бояре?

Лукавая, ловко сплетенная речь Шуйского сделала свое дело. Даже многие из противников Владимира теперь, вместе со сторонниками князя, отозвались решительно:

– Да! Видимое дело! Правда твоя, Иван Михалыч! Так и будет! Не уйдет крестное целованье-то от нас!

И, обрадовавшись, что не сейчас надо решать такой важный, тяжелый вопрос, бояре не стали уж слушать никаких увещаний и слов, торопливо кланялись на дверь царя, прощались друг с другом и торопливо стали покидать дворец.

Осталось всего человек десять, самых близких к Ивану лиц, с князьями Мстиславским и Воротынским во главе.

– Что же теперя делать учнем? Бояр меньших в Сборной Избе ко кресту не приведешь, коли те уж осведомлены, что первые вельможи без крестного целованья ушли, – угрюмо проговорил Воротынский.

– Вестимо! – отозвался Мстиславский. – Видно, и нам идти. Што завтрава Бог даст? Утро вечера мудренее...

– Ой, нет! Как же так?! – всполошился Данило Захарьин. – Хошь мы-то утешим царя, крест поцелуем, делу почин благой положим.

– Пожалуй, оно можно! – переглянувшись, согласились остальные.

Часу не прошло, как эта кучка приближенных, верных людей приняла присягу на верность Димитрию, которого обязались они водворить на троне в случае смерти Ивана.

Совсем разбитый утренней сценой, лежащий в полуобмороке, больной царь от удовольствия и руками всплеснул, когда дьяк стал ему читать имена присягнувших.

– И Яковли обое?! И Серебряные братаны?.. И Палецкий, старый бражник!.. Да его ж утром и не было.

– Послали за ним, государь! – степенно заявил Висковатый. – Сказали боярину: «Царь, мол, неотложно зовет!» Приехал. Охал, а крест целовал.

– Може, и взаправду, болен старый?

– Може, государь...

– А што ж Одашева Алеши нет? И воеводы Вешняка, казака нашего хороброго? Неужто правда, што изменили обое они?

– Нет, осударь, – замечая волнение больного, поспешил успокоить дьяк, – по их послано. Они по своим полкам поехали, известиться хотят, нету ли там какого нестроения. Не заглянула ль и туды княгинюшка Евфросения али подручные ейные?

– Значит, так и колдует везде ведьма старая?

– Шибко старается, осударь! Сейчас с ее двора мой один парень приставленный прибежал, сказывал: который день людей ссывают, она да князенька Володимир Ондреич. Деньгами дарят. Посулы сулят богатые. Все на тот случай, ежели в цари князь сесть задумает. А Одашев – придет, будет здесь, нынче же! Не кручинься!

– Ну, ладно... Господи!.. Ну, трудись, помогай, дьяче... Не забуду службы твоей великой... И сыну завещаю... и княгине моей: ежели помру, чтобы на место отца тебя держали!..

– И, помилуй, государь! Я не то што корысти ради али за страх, но и за совесть тебе да земле служу... Едино твое слово ласковое, царское, а иных наград мне и не надобе!

– Ладно... сочтемся! Знать бы мне только, что-то будет. Что будет с нами? С Митенькой? Со мною самим? Вразуми, Господи, чего ждать мне? На что надеяться?

Вдруг среди наплывающих сумерек весеннего вечера, в тишине опочивальни громко прозвучал чей-то странный голос:

– Да придет царствие Твое!..

Царь и Висковатый сразу сильно вздрогнули. Иван первый спохватился и захохотал негромким, но довольным, веселым смехом, словно позабыв на этот миг все муки, перенесенные днем, все заботы грядущие...

– А што б табе, – заворчал Висковатый, оглядываясь на угол покоя, где в большой клетке сидел и раскачивался любимец Ивана, говорящий попугай, подарок от патриарха Константинопольского. Попугай этот четко умел произносить молитву Господню на славянском языке, и сейчас он-то и выкрикнул одно из прошений этой молитвы.

– Совсем позабыл я об этой птице болтливой! – покачивая головой и тоже невольно улыбаясь, сказал дьяк.

– Да... А она вот доброе слово нам изрекла! Дай, Боже, сбылось бы! Аминь! А теперь – ступай отдыхать, и я сосну... Иди, дьяче! Только... к царице загляни... успокой ее... Скажи: все ладно-де! Да не сам взойди... Ты у меня тут все вертишься... Младенцу хворь мою не занес бы! Ты чрез боярынь. И Митю-де благословляю на сон грядущий... Ну, иди, Михалыч! Спаси тебя Христос!..

С земным поклоном вышел Висковатый из опочивальни царя. А больной, несмотря на усталость, долго еще не мог уснуть, думая и передумывая: как быть? За что взяться? Как лучше беде помочь? Тяжелые, грозные тучи клубились в душе властелина, которого скоро прозовут «Грозным царем».

Не скоро и Висковатов заснул в этот день. Он сумел найти Адашева, Алексея, и воеводу Вешняка: доводами мудрыми, осторожными угрозами – убедил обоих принять присягу и дать запись на верность Димитрию. И так же деятельно, как мать князя Владимира хлопотала над вербовкой приверженцев Владимиру, – умный и опытный дьяк пустил в ход все пружины, чтобы назавтра собралось для крестного целования побольше надежных людей... А за этими и сомнительные одумаются, придут с повинной.

Попутно дьяк узнал, что через час либо два после принятия присяги – князь Димитрий Палецкий послал к князю и княгине Старицким своего родственника по жене, боярина, не брезгующего и торговыми барышами, Василия, сына Петрова, Борисовых-Бороздиных роду.

Долго толковал с Евфросиньей посланный. Хитрец Палецкий, не зная, за кем останется верх, – пожелал обезопасить себя со всех сторон. Он предложил свою помощь князю Старицкому, если тот заранее обяжется: оставить за больным Юрием Васильевичем и за его женой, дочкой Палецкого, тот самый богатый удел, какой назначил в завещании недоумку-брату сам царь Иван.

Торг был принят и почти заключен.

Но это мало заботило дьяка. Иные дела и люди поглотили у него остаток дня и даже часть ночи. Далеко за полночь в светелке Висковатого горел огонь: дьяк все читал какие-то столбцы, толковал с ратными и вольными людьми, которые, не глядя на поздний час, то и дело стучались у калитки дома дьяка.

Минула ночь. Настало утро. Снова стали собираться бояре в покое, рядом с опочивальней Ивана, и в Передней Избе, где так и остались нетронуты все приготовления для присяги, стоял стол, приготовленный для совершения записей...

Ранним утром прискакал царский гонец к Владимиру Андреевичу. Висковатов писал князю от имени царя, что, «обсудив за ночь слова брата, царь хотел бы еще перетолковать с ним, в надежде прийти к какому-либо соглашению».

– Видать, испугался вчерась? – заметил Владимир, передавая матери послание дьяка. – Скажи осударю, што буду во скорях! – сказал он посланному, отпустил его и стал собираться во дворец.

– Ох, не ездил бы, погодил бы, сынок. Сердце ноет чтой-то у меня... щемит ретивое. Да и сон я видала нынче не больно хорош...

– Э, што там за сны?! Чего опасаться? Видала бы вчерась, матушка, как они все хвосты передо мной поджали! И присягать никто не стал!

О том, что часть бояр целовала-таки крест, Старицкий не успел еще доведаться.

– Ну, твори, как ведаешь сам, сынок. Ты – в дому голова. Я что смыслю, вдовица сирая?.. Бога молити за тебя, рожонного, за жаланного за мово? Христос с тобою. А все – лучше бы погодить. Може, на сам деле: помрет скоро Иван – и без хлопот, без забот царем ты станешь, красавчик мой.

– Там царем не царем, а ехать сейчас надобно. Скажут: испужался я... А ведь я – не братец мой, царь Иван, што под Казанью – на карачках ползал! А потом – и-и-и, как величался: «мною-де сила татарская взята»... Не пригоже мне хорониться, прятаться... Зовет – надо идти. И не один я там буду. Стража вчера была Курбского. И сегодня – от него же. Я спрашивал. А он меня не выдаст!

– Ну, ну! Иди, говорю! – благословила сына княгиня.

Как и вчера, в комнате, рядом с опочивальней царя, Владимир застал почти всех ближних бояр, и царевых, и своих приверженцев. Кроме того, увидел здесь князь и Сильвестра, чему порадовался. Но как только он узнал, что вчера многие бояре присягнули Димитрию, князя словно укололо в сердце.

– Что же мне брат-государь не писал о том? – надменно обратился он к Висковатому. – Надо нам наконец столкнуться с государем!..

И двинулись прямо к спальне царя.

Но вход князю заградили те же Мстиславский и оба брата Воротынские.

– Подожди, князь-осударь, больно речи твои вчерашние истомили государя. Не приказано допускать на очи царские твою милость, княже?!

– Как смеете?! – крикнул было Владимир.

Но, увидав, что противники стоят с нахмуренными лицами, с мечами наготове, обернулся к своим приверженцам и проговорил:

– Вот до чего дело-то дошло! Меня, брата государева, кого царь звать посылал, – и к брату не пушают... Ну, пусть же Бог рассудит нас!

И князь быстро вышел из покоя, не обратив внимания на брань и споры, которые завязались между враждующими боярами.

Пройдя сени и переход, соединяющий палаты Ивана с Передней Избой, где снова собрались для крестного целования меньшие бояре и люди служилые, – Владимир повернул к выходу, на крыльцо, у которого стоял его аргамак и ожидала свита.

Когда шел князь к царю, полчаса тому назад, у этой двери стоял один из стрельцов Курбского, лично знакомый князю еще из-под Казани...

Теперь, к удивлению своему, Владимир увидел, что дверь охраняют двое черкесов из числа стражи Ших-Алеевой, с бердышами в руках.

Князь был шагах в пяти от двери, когда часовые, скрестив вдруг оружие, обратились к нему с вопросом:

– Какое слово?

Не обращая внимание на двух плохо говорящих по-русски азиатов, Владимир подошел к самой двери.

– Я – князь Старицкий! – властно кинул им.

Схватился рукой за один бердыш, чтобы отклонить его и пройти.

Но здоровенный азиат довольно решительно отвел руку князя, отстранил его самого и грубовато заявил:

– Ничиво ни знаим... Пусты нелзя... Слово скажи – тагада гайда!

Негодующий князь наполовину выхватил было меч из ножон, но в ту же минуту с яростью почувствовал, что второй горец – железной рукой схватил его за кисть; а меч так и остался наполовину обнаженный.

Поняв, что против двоих диких, сильных глупцов ему ничего не поделать, – Владимир кинулся назад.

Но там у дверей перехода, где еще минуту назад никого не было, – стояло двое таких же азиатов со скрещенными бердышами, а позади виден был, должно быть, их начальник, красавец-юноша в богатом восточном боевом уборе.

То был Симеон Бекбулатович. Ему поручили на этот важный день начальство над стражей из черкесов, поставленных внезапно вместо стрельцов. Стрельцы, пожалуй, могли бы откаться, не подняли бы руку на князя Старицкого, любимого вождя русских ратей.

Владимир понял все и побледнел.

– Что ж это будет?! Капкан? Пустите меня! Я должен пройти хотя бы назад, к князю Воротынскому. Знаешь ты его? – по-татарски обратился Владимир к Саину.

– Знаю, господин! – отвечал юноша. – Да вот и сам он жалуется...

Действительно, Воротынский, зная наперед, какая сцена должна разыгаться при выходе Старицкого, поспешил за князем с тремя-четырьмя из приверженцев царских.

– Поторапливай, княже! – повелительно крикнул Воротынскому Владимир. – Иди скажи этим ишакам астраханским: не смеют они меня держать! Пропуску, слова дурацкого требовать... Либо – скажи мне энто слово... и дайте уйти!

– Не обессудь, княже! Сам не знаю пропуска! Царю угодно было вон энтого царевича, Саина Бекбулата, позвать... Шепнул ему единому словечушко, а нам ни гугу.

– Да как же?.. Идешь же ты вольно всюду, князь? Не дурачь меня, слышь...

– Идти – иду, точно! – Да – не прочь со двора, а в Избу Переднюю, где крест целуют. Оттедова всех к царю-батюшке допустят. Царь нам слово и скажет, пропускать велит слуг своих верных, кои крест целовали ему и сыну его, царевичу...

– А ежели кто не станет целовать?

– Значит, тот человек – изменник царю. И пробудет здесь до вечерен... А тамо...

– Тамо?..

– Уж как воля будет осударева... Вечером – видно станет!

– Так, так... Да не запугаете вы меня! Бояр не мало в покоях царских. Им – здесь же идти... Я скажу им... Вот мы и покалякаем... Гляди, еще не то будет!..

– Разумеем. Да и ты не грози, осударь! Ведомо нам и царю, как народ сманивал с государыней-старицей, со княгиней с матушкой, стало быть, твоею... И в сей час, гляди, она алтыны раздаривает да гривны тяжелые. Только на все – отводы отведены у нас! Бояр крест целовать поведут, да лишь иным путем-дорогою... Понял?

Словно затравленный зверь, огляделся Владимир.

В глубине переходов он увидел еще много таких же, истуканообразных, зорких, сторожких азиатов – часовых.

– Слышь, князь, не пустишь ты меня, – я на голос крикну! Челядь тута моя у крыльца. Умирать, так не даром отдать себя, слышь?..

И князь поспешно обнажил меч, опасаясь, чтобы при всех боярах черкес снова не сжал ему руки своими железными пальцами. Но тот стоял спокойно, ожидая повелений Саина.

Саин-Булат выхватил быстро из-за пояса большую восточную пистоль – и стоял наготове, целясь прямо в лоб князю Старицкому. А Воротынский насмешливо произнес:

– Челядь-то вся заранее убрана твоя, княже. Сказано ей было: «Князь Володимир к другим воротам пройтись велел, тамо его дожидаться!» Пошли, поверили люди... Стоят-ждутся...

От приступа бессильной ярости что-то словно заклокотало в груди у Владимира.

Бросив меч, он выкрикнул, задыхаясь от злобы:

– Предатели!.. Ну, ведите меня!.. Ничего, видно, не поделаешь! Приходится пашенку двухнедельному трон уступить прародительский, крест на верность целовать!

Как приговоренный к смертной казни, пошел за Воротынским Владимир, принял присягу, подписал клятвенное обещание: «Служить верою и правдою царевичу Димитрию, прямому, единственному наследнику Московского государства и всея Руси».

А в горнице, смежной с опочивальней царя, – иная сцена разыгралась почти в этот самый миг.

Не успел еще шагнуть за порог раздраженный князь Владимир, как выступил вперед протопоп Сильвестр, находя, что теперь самое время поднять ему свой властный голос.

– Мужа буи! – громко отчеканил он. – Как смеете претити брату – болящего брата видети? Пошто вы к государю князя Володимира не пускаете? Он государю добра хочет не поменей вашего!

– Да вестимо! – сильно подхватили бунтовщики-владимировцы. – Виданное ль то дело?! Брата государева – так страмити! Кары мало за это! Чего ж нам ждать, коли с князем так?!

– А все Захарьиных штуки! – завел по-старому Турунтай-Пронский.

– Ни при чем тут Захарьины! – вступился Мстиславский, оставшийся в покое, когда Воротынский поспешил за Владимиром. – На чем мы государю и сыну его, царевичу Димитрию, крест целовали и правду дали, по тому и творим!

– Так оно и для государства крепче! – добавил дружка царский, боярин Михаил Яковлевич Морозов.

– Царство? Нешто вы об царстве помышляете? Вон ваши все цари: Захарьины!.. Так не бывать тому! – крикнул кто-то из толпы бунтующих бояр. – Убить их скорее, чем царство отдать им на волю!..

Кой у кого из бояр да князей засверкали в руках ножи, принесенные потихоньку под полюю.

Сразу защитники царя шарахнулись к спальне Ивановой, захлопнули дверь накрепко, словно опасаясь, чтобы безумцы туда не кинулись.

Серебряный, Курбский и другие с ними – обнажили мечи, которые им разрешалось носить даже во дворце, как начальникам стражи царской. Оба Захарьины, бывшие здесь же, напуганные, смертельно бледные, кинулись в опочивальню, словно под защиту к больному царю.

Крики, брань, проклятия звучали в соседней горнице. Сталь мечей, задевающих друг за друга, жалобно звенела.

А Захарьины испуганно шепчут:

– Плохо дело, государь! Уж не отказаться ли нам с тобою ото всего? Пусть наследником объявят хоша и князь Володимира! Не то, гляди! Тебя и нас тут же прикончат, жисти лишат!

Но, против ожиданий, Иван остался сравнительно спокоен. За ночь он окреп. А исхода бурной, дикой сцены, происходящей в трех шагах от него, – очевидно, не опасался. И недаром!

– Э-э-эх вы, малодухи! Чего испужались вы, Захарьины?! – заговорил с укором царь. – Али чаете, что когда-либо бояре пощаду вам дадут? Как-никак – первые вы от них мертвецами будете! Так уж лучше – крови своей не щадите, обороняйте сына моего да жену мою, сестру вашу, коли я умру... Энти дьяволы и младенца не пощадят, царевича! Ну да еще поглядим!

И царь стал прислушиваться. Растет и растет шум рядом в горнице. Вдруг раздался голос Висковатого.

– Дверь раскрой, Данило. Послушать желаю, што толкует дьяк? – приказал Иван.

Дверь распахнулась, и в опочивальне услышали, как Висковатов, не дремавший эти полчаса, вошел и громко закричал, стараясь образумить спорящих:

– Тише, бояре! Слышьте, што скажу! Вот до чего пря ваша довела Москву... Бяда близко... Слышьте, говорю!..

Крики и брань сразу затихли.

– Што тамо брешешь? Кака беда? Выкладывай!..

– А вон, гляньте: цидулку я перехватил... По новгородцы да по псковичи нынче послано... Сызнова почнется мятеж и разруха государству великая!

– Врешь! Кто посылал? Как узнал? – раздались тревожные голоса из обоих враждебных станов боярских.

– А вот поведаю... Сейчас, как это присягнул князь Володимир...

– Князь присягнул?! – словно из единой груди вырвалось сразу у всех.

– Слава тебе, Христе, Боже наш! – широко перекрестился Иван, приподымаясь на подушках.

– А то как же! Вот и запись его присяжная!.. – показал предусмотрительный дьяк. – И печати вдовы честной, матушки-княгини Старицкой тута ж привешены... Вот оне! Только, стало быть, князь крест поцеловал, запись подмахнул, я и шасть к княгине Евфросинье... Бли-зехонько тута... Пошел да провожатых взял поболее. Пришли мы, а ворота-то заперты. Ну, долго ль ворота сломать? Вошли во двор, честь честью... «Где княгиня?» – «На богомолье, ска-зывают, поехала осударыня!..» Эко не ко времени, думаю... Не поверилось мне. Пошарили – нашли государыню... В клетки под перинами крылась, там быть изволила...

Невольный смешок пробежал по боярским лицам, выражающим глубокое внимание.

– Ну, вытащили мы почетную старицу, показал я княгине, што сынок ейный, князь Володимир, подписан же... И ее заставили любехонько печати приложить! С трудом превеликим! И тута ж, по пути, попался в руки столбчик мне, вон энтот самый! Зовет новгородцев да псковичей честная вдова себе на подмогу. Ну да незванным гостям – и от ворот поворот... Уйдут несолоно хлебавши!

– Да как же ты понудил княгиню?.. Как князь подпись дал? – раздались голоса.

– А вот они, мои помощники! – указывая на раскрытую дверь, скромно произнес Висковатый.

За дверью стояла грозная толпа стражников-азиатов под начальством того же царевича Саина. Владимира после присяги выпустили, и он кинулся домой, а черкесы, сторожившие его, соединились с теми, которые ходили к Евфросинье, и все они теперь явились перед глазами бунтующих бояр, как нема, но неотразимая угроза.

Мертвое молчание воцарилось в покое.

Тогда из-за раскрытых дверей опочивальни прозвучал слабый голос царя.

– Что, бояре, дождались? Кто на мятеж подбивал – первый отступился от дела... Баба старая, злая, полоумная – зверей жадных, новгородцев, наших недругов кровных, на Москву кличет, междоусобицу завести норовит! Давно христиане православные не резали друг друга, брат на брата с ножом не вставал?! Вот куды мятеж-то ведет!

– Повинны, осударь, перед тобой! – раздались подавленные голоса. – Не вели казнить!.. Помилуй рабов своих!

И до земли склонились бояре непокорной головой, кланяясь в сторону, откуда слышен был голос царя.

– Дьяк, поди сюды! – раздался снова голос.

Висковатый снова вошел в опочивальню и скоро вернулся назад к боярам, стоящим в томительном ожидании, с пересохшими губами и бледными лицами.

– Не сердчает осударь... Крест целовать идти приказал в Передней Избе... Истомно ему от многих речей и споров ваших... Вот и крест святой с мощами соизволил... На ём присягать станете. Идите, бояре!..

Бояре, отдав еще поклон по направлению опочивальни, двинулись прочь большою, молчаливою гурьбой.

– Тобе, князь Иван Мстиславский, да тебе, князь Володимир Воротынский, указал осударь при том крестном целованье стояти и подпис обирать!..

– Благодарим на чести, осударь! – с поклоном обратились к незримому для них царю оба князя. И вслед за всеми – поспешили в Избу, где сейчас же присяга началась.

– Ишь, – не утерпел князь Иван Иваныч Пронский-Турунтай, чтобы не уязвить Воротынского, – ишь какой присяжник у царя выискался! Ты бы помнил, што сам и с отцом-то твоим – апосля кончины великого князя Василея Иваныча – первейшие воры да изменники вы, Воротынские, объявились...

– Ой ли! – презрительно улыбаясь, ответил гордый своим превосходством Воротынский. – Ты вон про что помянул?! Эко диво какое вышло нонеча? Я – изменник, да привожу тебя к крестному целованию, штобы ты верой и правдой служил осударю нашему и сыну его, Димитрию-царевичу... А ты прям и чист, слышно... А государям обоим креста стоишь не целуешь! Служить им не хошь, видно? Кату базарному послужишь, миленький, как буде батогами стегать тебя!..

Зверем поглядел на обидчика Турунтай, ничего не ответил и быстро двинулся к аналою; крест поцеловал и подписал вторично сугубую присягу на службу царю Ивану и сыну, первенцу его, Димитрию-царевичу.

Глава II. Год 7061(1553)

После ранней и дружной весны настало раннее, ясное лето. Миновала болезнь молодого царя, которого уже не чаяли видеть живым. С того самого дня, когда непокорные бояре, во главе с князем Владимиром, волей-неволей приняли присягу на верность церевичу Димитрию, Иван словно ожил духом, успокоился; заснул тогда мертвым сном и спал почти сутки.

– Ну, теперь царь спасен! – радостно заявлял Схарья братьям царицы и ей самой, когда она неотложно пожелала видеть лекаря.

И он не ошибся. Но выздоровление Ивана шло очень медленно. Какая-то непомерная слабость оковывала не только тело его, но и волю, и мысли, что выражалось тысячей причуд и прихотей. Зато порою, когда царь держал в руке ложку или ручное зеркало, в которое гляделся, чтобы узнать, как исхудало его лицо, – стоило тогда кому-нибудь из окружающих, шутки ради, сказать:

– Брось, государь! Ну, стоит ли держать?!

И он ронял то, что держал в руке...

Но такая внешняя слабость недолго отражалась на душевной жизни, на желаниях и на порывах Ивана.

Еще в первые дни, радуясь чудесному избавлению от смертельного недуга, согретый ласкою вешних теплых лучей и свежего ветра, который врвался в раскрытое окно царского покоя, освежая здесь спертый, тяжелый воздух, от всего этого Иван чувствовал себя счастливым, довольным, готов был простить и забыть тот тяжелый кошмар, каким являлись в его памяти три дня волнений боярских перед принятием присяги Димитрию.

Но такое доброе, радостное настроение недолго владело душой Ивана. Шуревья царицы – Захарьины – решили, что «надо ковать железо, пока горячо»... Враги-бояре выдали себя с головой; надо было погубить их окончательно в глазах царя.

Правда, спохватились быстро строптивые вельможи и такой же раболепной, густой толпой окружили выздоравливающего Ивана, как недавно стояли перед дверьми его спальни угрожающей стеной. Иван неожиданно словно из мертвых воскрес. Переворота, значит, не предвиделось и создать его снова невозможно. Пришлось поусерднее заглаживать вину. Хотя между собой единомышленники не прекращали сношений, еще надеялись на какой-нибудь «счастливый» случай.

Захарьины-Юрьевы хорошо это видели, знали, следили за малейшим шагом наиболее для них подозрительных людей, а уж Ивану все передавалось в утроенном, в учетверенном виде.

Жадно, как знойный песок поглощает влагу, – ловил на лету Иван все дурные вести о «недругах» своих и только ждал минуты, когда только можно будет свести с ними счеты.

– Со всеми! – шептали Захарьины. – Особливо с Сильвестром-попом и с Алешкой, твоим любимчиком! Каковы на деле-то показались, прохвосты, продажные души!

Иван на это нерешительно кивал головой. Он чувствовал обиду и на этих двух... Но старая привычка, почтение и доверие не давали разойтись дурным чувствам царя.

Не желая особенно настаивать, шептуны замолкли.

А Иван, лежа в постели, глядел в окно на клочок синего неба и думал... думал... Порою и сам не знал о чем.

Наконец, впервые после болезни, было позволено царице Анастасии посетить больного.

Хотя Иван готовился к встрече и переволновался задолго до нее, уговаривая себя не поддаваться слабости, не ронять своего царского достоинства, но едва вошла бледная, измученная, словно тоже перехворавшая Анастасия – Иван не выдержал.

Он с невнятным криком «Настюшка!» – протянул к ней руки, обнял, прижал, как мог, слабыми руками к ослабелой груди и сильно зарыдал... Вообще, после болезни у него очень

часто сжимало горло, слезы то и дело показывались на глазах от малейшей причины. Теперь уж и сам Иван хотел прекратить рыдания, да никак не может.

А царица, крепко прижавшись к мужу, ласково, нежно шептала:

– Ваничка, миленький... Привел Бог... Слава Тебе... Ну, будет. Не плачь... Ванюша ты мой, Ванюшенька... Царь ты мой радостный...

И сама не плакала, нет, – улыбалась. Словно светилось у нее лицо. А в то же время крупные слезы, часто-часто, одна за другой, так и скатывались по сияющему лицу, как живые жемчужины, теряясь между жемчугами богатого ожерелья...

– А знаешь, я ведь к тебе христосываться приходила! – зашептала она и вдруг сразу густо покраснела и вся омрачилась.

Иван заметил.

– Что с тобой?.. С чего же потемнела ты?.. Как приходила, скажи?..

Анастасия, вспомнив, после чего побежала она с красным яичком к царю, – рассказала ему о своем посещении, но промолчала о появлении к ней Адашева.

Когда же допытываться стал Иван, с чего это она так сразу изменилась лицом, Анастасия ответила ласково:

– После, после скажу. Все расскажу, Ванечек ты мой. А теперь идти надо к Митеньке... И лекаря не приказывали долго быть у тебя, тревожить моего ясного сокола... Поправляйся скорее...

И она собралась уходить.

– Только вот што, – перед самым уходом шепнула все-таки, не выдержав, царица Ивану, – поостерегайся ты Олексея Одашева... Да и отца протопопа... тоже... такое про них слышно... И-и!..

Шепнула, оглядываясь, не услышал бы кто, – а сама задыхается от волнения и страха.

– Знаю, знаю... – отозвался Иван, полагая, что ей тоже показалось двусмысленным поведение обоих любимцев во дни смуты боярской.

– Всем я им верю, аки змию ядовитому, погубителю...

Тогда она, еще раз обняв мужа, перекрестила его и ушла, повторяя:

– Здрав будь поскорее, голубь ты мой!..

– Ишь ты! – подумал Иван. – Настя чистая душа... На что уж в дела мои государские не мешается, а супротив их остерегает... Значит, правда: Бога забыли мои два верных друга-советника. За что? Ведь все-то, все-то я для их делал да по-ихнему... Из грязи взял, наверху царства поставил, за прямоту, за чистоту ихнюю... И вот...

От обиды, от напряженного чувства неприязни к недавним друзьям и советникам – у Ивана губы пересыхали, и во рту ощущался вкус острой горечи, словно бы желчь поднималась ему к самому горлу...

И он думал, напряженно думал: как теперь быть? На кого положиться можно? С кем дело царское делать, которое одному человеку не под силу? И как ни думал Иван, кого ни перебирал в уме, что ни вспоминал из своей прежней жизни, одно имя приходило ему на память – митрополит Макарий.

Вот человек, ни разу не проявивший жадности, гордости или злобы перед Иваном. Каждое слово, сказанное святителем, кроме добра – ничего не приносило.

Правда, и Макарий стоял за Сильвестра, Макарий дал ему Адашева. Но тогда, первое время, пока не зарвались эти рабы, не стали продавать Ивана врагам его, они были полезны и необходимы царю. А ежели потом лукавый соблазнил обоих, – виноват ли в том Макарий?

Так решил Иван. И по привычке своей к постоянной скрытности, к притворству, не выдавая ничем внутренней неприязни к окружающим, искренно и тепло относился он только к Макарию и, конечно, к жене и братьям ее, доказавшим царю свою преданность...

Важный гость сидит в покое у Макария, посол английского короля Эдварда VI, моряк Ченслор. С большим трудом, не раз рискуя жизнью, добрался смелый корабельщик почти до самых устьев Северной Двины, откуда холмогорские головы и городовые приказчики дали знать в Москву, что «приехали английские торговые люди, а что с ними делать – не ведает никто: можно ли с ними торг вести, или связать их и доставить в стольный град Москву? Но, впрочем, те и сами-де просят: «Дайте нам провожатых, мы желаем вашему государю от нашего „Кина“, сиречь государя, поклон снести».

И вот почти через два месяца пути прибыл Ченслор с двумя-тремя спутниками своими и с царскими приставами в Москву. По болезни царя принимал его сперва Адашев и другие вельможные бояре. Потом состоялся прием у царя. Захотел видеть послов и Макарий.

Но теперь – болен он был. Очень кстати, на другой же день после пасхальной заутрени, разыгралась у старца привычная болезнь, «камчуг», в ногах.

Ни выходов, ни приемов торжественных делать нельзя, пока отек не пройдет. Таким образом избегал Макарий необходимости присутствовать там, где бы ему не хотелось, видеть то, чего бы не желал, вмешиваться в события, опасные для его собственной личности и сана... Предшественники Макария, не умевшие захворать вовремя, быстро ведь меняли митрополичий клобук свой на монастырскую скромную рясу...

Сидя по болезни у себя в келье, Макарий не лишался возможности видеть и говорить, с кем хотел, и не появлялся только там, где это было несовместимо с положением и видами прозорливого владыки.

Вот почему без обычной пышности, без многолюдной свиты состоялся прием интересного гостя-моряка в покоях митрополичьих.

В девять часов утра принял Макарий Ченслора. Десять било, а между ними живая беседа идет при помощи дьяка Висковатого. Этот знает по-немецки, как и Ченслор, и может служить толмачом, о каких бы важных вопросах ни шла речь. Но Макарий от важных вопросов намеренно уклоняется.

– И сам я болен, и царь нездоров же... Теперь у нас государские дела затишали... Да и не подобает мне в земские нужды мешаться. Мое дело – духовное: Богу молиться да за опальных стоять, милости просить у царя... А он – один земли владыка...

Так всегда и всем послам отвечает Макарий, если те прибегают к его посредничеству в переговорах с царем, зная, как велика власть первосвященника в Москве.

Ченслор, как человек умный, сразу попал в тон. Больше сам говорит и описывает свои похождения, желая доверием вызвать ответное доверие.

Сидя в удобном, мягком кресле, причем больная нога лежит, вся обернутая, на соседнем табурете, Макарий склонился на руку головой и слушает интересные речи посла.

Вдруг движение и шум возникли в соседнем покое, проникая даже сквозь толстую, суконную обшивку дверей.

– Царь-осударь жалует! – быстро проговорил послушник, вошедший, почти не дожидаясь впускного «Аминь».

В ту же минуту раздался голос Ивана, творившего обычную молитву за порогом.

– Аминь... Входи, входи с Господом, царь-государь! Входи, чадо мое любезное... Вот, не могу встать к тебе, Бог наказал!.. – благословляя и целуя Ивана, произнес Макарий.

– Сиди, не тревожь себя, отче-господине... Твои молитвы за нас и так ко престолу Господню дойдут! – сказал Иван.

Затем ласково ответил на глубокий поклон, отвешенный ему Ченслором, и кивнул Висковатому, поднимавшемуся после земного преклонения перед царем.

– Здравствуй, посол!.. Ришарда, так ведь зовут? Здоров, Михалыч! Передай-ка англичанину, что я нарочно пришел здесь послушать рассказов его. Там, в Думе, я принимал здоро-

ванье его от брата нашего, короля Едварда... А ныне мне занятно послушать, что сам он на Студеном море-окияне видал да перенес.

Иван опустился на лавку в переднем углу, указав послу занять место между Макарием и собой.

– Ну, о чем речь шла, дьяк? – обратился Иван к Висковатову.

– Да вот, осударь, толковал немчин, как выехали они на трех великих галлиях, на каторгах, на кораблях морских... И буря сильна была... И товарищ его старшой, Гук-Лойба...

– Гуго Уиллоуби! – поправил англичанин.

– Вот-вот, энтот самый, затерся гдесь-то... Не пришел к Вардегузу Норвецкому... И пришлось нашему немчину с одним кораблем на Русь прямовать... «Бонавинчура» звать ладью-то евойную... А по-нашему, к примеру, как бы сказать: «В добрый час!»

– Кто ж снарядил те суда? Сам брат наш Едвард?..

– Нет, осударь... Снаряжали их купцы английские... Артелью сложились... Большие деньги собрали и отпустили три корабля с товаром ихним заморским: и сукна, и всякие изделия ихние. Вот как те поминки, что тебе, осударь, подношены. Энто – все из ихних товаров. А у их тесно стало, соседи торг перебивают. Вот они про нас прослышали, что много недохватки у нас. А иного – и с лишком есть... Мену, торг новый, строить хотят. А король яснейший Едвард уж опосля их под свою руку принял и грамоты к тебе, государь, писать приказал...

– Так, так... Наши небось, даже новгородцы пройдошливые, в землю английскую не хаживали и не забирались. А энти тут как тут. Ничего не побоялись. Да, надо бы и нам море себе какое ни есть раздобыть, окромя Студеного... К соседям поближе. Большие прибитки земле от торгу морского идут. Ни граней, ни сторожи, ни рогаток нетути! Божий путь!

Ченслор, которому дьяк перевел речь царя, усиленно закивал головой.

– Так, верно, правильно ваш царь говорит. Нужно непременно нам с Русью торг водяной завести. Чего нам не хватает – у вас есть. Хлеб дешевый, меха, сало, лес... Что мы работаем – вам еще долго не добыть у себя. Не придется нам ссориться из-за торгу. А польза и одному, и другому будет великая.

– Сам знаю! – ответил Иван на речь посла. – И думаю, как бы все это наладить. Ну да оно впереди... А спроси у Ришарда: нету ль с ним кого из рудознатцев да литейщиков случаем? У нас, под Серпуховом, вон руда железная... На Цыльме – медная... в недрах гор, на Поясу земном¹, – чего-чего нет! А добывать не умеем! Так и гибнут зря дары Божии...

– Нет, государь... Не найдется. На корабль я брал только матросов да торговых приказчиков. Да отчего, государь, ты от соседей, от немцев, не призовешь сведущих людей? Там немало их...

– Какое – от соседей! – махнул рукой Иван. – Скажи-ка ты ему, Михалыч, как я из венгров людей зазвал, как Литва да лифлянты не то что их не пуцали через свои земли ко мне, а которые потайно пытались грань перейти, тех ловили и головы секли, в темницы заточали на всю жизнь. Мы уж и в сей час им досадны. А как узнаем все ихние науки да мастерство произойдем – так бояться, окаянные, что и крышка им. Недаром опасаются, еретики неверные. Сокрушит Русь главу змиеву. И отцы святые то же пророчат. «Третий Рим» – недаром так Москву нашу зовут...

Висковатов, смягчив конечно, передал Ченслору речь царя.

– Ну, понятно, понятно... Боятся соседи. Да это пустое. За хорошие деньги – хорошие люди приедут к вам служить. Ведь имели же вы фряжских мастеров из Италии и разных иных...

– Имели и еще иметь будем! Верное твое слово, Ришарда!.. – довольный англичанином, отозвался Иван. – Ну а с тобой не было ль чего такого, акромья бури, на пути?.. Чудес, страшил каких не видал ли?..

¹ Уральские горы.

– Особенного ничего. Только меня один из ваших моряков позабавил. Буря стихла, а мы как раз под островом одним очутились. Смешное такое прозвание у него. «Семь» – зовется остров. Один за семерых имя носит.

– Ну, не один. Семь их так рядом и стоят! – заметил Макарий, хорошо знавший карту северных берегов Московской земли. – Для краткости их тако величают: что ни остров един из семи, то и сам «Семь»... Что же там было с тобой?

– Да довольно непонятное что-то случилось. Ветру нет сильного, а у скалы, мимо которой плыть, вода словно в котле кипит. И миновать места нельзя, и пройти опасно. Долго мы стояли, под самым берегом якоря кинувши. Ветер и совсем почти спадать стал, а буруны так и кипят. Я говорю: «Может, у вас тут вечно так, и лучше пойти в обход, поискать иного пути?» – «Нет, – говорит ваш кормчий, которого я взял, – тут дело неспроста... Камень молить надо – все хорошо станет...» Думаю: как это «камень молить»? А он говорит: «Жертвы-де водяной дед требует!...» Я засмеялся и не велел дурить. Ночь пришла – прибой. А наутро проснулся – гляжу, море у самой скалы точно слюды листок: ровное, гладкое... Прошли мы, отъехали малость, оглянулись, а там опять и пена, и брызги... Глядеть страшно. Подходит ко мне мой кормчий и говорит: «А чья была правда? Я, тебе не сказавши, до рассвету вылез на камень, молил его, муку сыпал, масло лил. Место там есть такое, освященное. И деды, и прадеды то же там творили. И далось нам море, пройти позволило. А как мы минули самое место плохое, оно снова закрутило...» Я тогда говорю вашему кормчему: «Не море – сам ты нам помог, что масло на воду пролил. Старое это средство, да только оно у меня из головы вон!...» А он, седобородый, упрямо качает головой и твердит: «Водяной жертву принял, оттого и пропустил!...»

– Погоди, Ришард! – остановил Макарий. – Ты говоришь, «ваш моряк»... Я чаю, он из диких был, из чуди, али из лопарей, али...

– Нет, ваш, как следует... И по лицу... И крест на вороту висит...

– И все же про «водяного» тебе толковал... Жертву языческую творил? – с огорчением покачивая головой, тихо произнес Макарий. – Эхе-хе... Грехи тяжкие!

– Да не досадуй, владыко! – быстро заговорил царь. – Ведомое дело: живут поморы наши заодно с язычниками, ну и наберутся за неволю ереси всякой. Твои иереи посланные скоро, гляди, весь край ко Христу приведут. Не будет тогда того...

– Дай Бог... Дай Бог... А только не больно велик урожай на ниве Господней!.. – покачивая с сокрушением головой, с легким вздохом произнес митрополит. – Мало у меня тамо Божиих ратников. Да и у тебя, царь, слуг не довольно. Богатые тамо дани можно собирать, ежели порядки завести, как во всей земле Московской...

– Заведем авось, владыко. Знаешь же ты думу мою...

– Знаю, ведаю... Ну да об этом после. А как земля тебе тамошняя, англичине, показалась? Как люди? Есть ли чем с ними торг вести?

– Есть ли чем? – воскликнул купец-посол, а глаза у самого так и засверкали. – Да там богатств числа нет!.. Какие шкурки звериные... Я те, что собрал, – самому королю в дар принесу и получу щедрую награду за них. А дикари, которые меняют эти сокровища, – им и цены не дают. За пустяк меняют да еще толкуют: погоди, мы лучше принесем! Жаль, ждать не было часу. И рыбы – гибель там... И лвы, и коты морские... И китов мы видели... На просторе – стадами ходят... А оленей... А дичи!.. Богатый край, государь, там Бог тебе послал...

– Богат не богат, а угодье доброе. Вот опять соседи-враги мутят, к себе чужь, и лопь, и зырян сманивают. Ракой спаивают. Ну да не будет того! Я им самим скоро... Свеям этим, да...

Но не dokonчил Иван, остановился.

– У нас то ли еще есть! – снова заговорил он через мгновенье. – Приходят с ясаками к нам из Сибири инородцы... Вот те добро несут... Покажу те меха тебе. Вижу: человек ты правильный. Как оценишь? По чести, чаю, скажешь...

– А как же иначе, государь?! Неправильно жить – и торгу не водить! – так у нас говорят...

– Ха-ха-ха! Ну, на Москве ты иное услышишь. «Не обманешь – не продашь...» – вот что наши торговые люди бают... Ты, англичин, мне понравился... Так я остерегу тебя: с купцами моими ухо остро держи! – весело смеясь, проговорил Иван.

– Ничего! У тебя бы, государь, для дела моего государя Бог бы удачу послал. Да позволю нам торг завести в твоих землях вольготный, помимо гостей заморских, торговых. Так мы твоим купцам и лишку передать не прочь. На соседях на твоих отыграемся...

– Ладно, добро!.. Очень ты мне по душе пришелся. Будет по желанию твоему и как брат наш Едвард просит. А пока ступай, отдыхай... Скоро и к обеду пора... Чай, истомился по нашим дорогам? – протягивая послу руку для поцелуя, проговорил царь.

Целуя протянутую руку, с поклонами посол отвечал:

– Не могу пожаловаться, государь. Дороги, если по правде сказать, не хороши да и не больно худы у тебя. Охрана на них строгая. Меня раз сорок останавливали...хлопот, правда, много, да для нас, для купцов, хорошо. Значит, берегут нас от злых людей. А что земля твоя полна болот и лесов – Бог тому причина, не ты, государь. Да и то я видел: люди твоей земли мимо стражи, по дорожкам и тропинкам лесным и болотным – так и носятся стрелой. Не людной еще край ваш Московский. С той стороны, где я проезжал... А вот тут, под Москвой, уж довольно много народу... У нас потеснее земли, оттого и народу кажется больше.

– Да, ты угадал, посол! – горделиво ответил Иван. – Велико мое царство... Земли русской конца-краю нет... В едином вот новом нашем царском городишке, в Казани завольской, – мы врагов лишь одних, казанских бесермен, – тридцать тысяч побили. И все полон город людьми стоит. В граде нашем престольном, в Москве, вот тута изоб, домов одних переписано сорок и две тысячи... Подочти: сколько народу в тех домах? Ты видел: мы, русские, широко живем, с чадью и с домочадцами, с холопами и с челядью. А ведь тута пригороды и села мои подмосковные и боярские деревни ближние не считаны. Вот ты и подумай... Одначе, ступай с Богом... Время!.. Мне еще надобно тут с отцом митрополитом... Ступай!..

И царь отпустил англичанина.

Теперь трое человек остались в митрополичьей «казанке», или передней келье, заменяющей кабинет, – царь, Макарий и дьяк Висковатов, который, пятясь задом, стал у дверей, выжидая, прикажут ли ему уйти или остаться.

– Слышь, Михалыч, – быстро произнес Иван, едва посол скрылся за дверью, – ты догони агличина, потолкуй с им, удержи в сенцах-то... Може, мне его вернуть занадобится...

– Слушаю, осударь! – отвешивая земной поклон, откликнулся Висковатов и скрылся вслед за Ченслором.

– Добрый слуга, верный, не лукавый раб господину своему! – глядя вслед дьяку, похвалил его Иван. – А все из твоих рук, владыко, принял я человека.

– И-и, государь! Этим ли руки мои старые, дряхлые служить тебе рады? И дни свои преклонные я готов на благо твое и земли родной отдать, ежели Бог захочет того... Только цветите да красуйтесь вы на покой люду христианскому... на украшение церкви Божией... Ты погоди малость, чадо мое любимое... Рассадники познания светского и духовного, школы монастырские да училища процветут те, что мы с тобой устроили запрошлым годом. У меня наберутся попы поученнее обломов нынешних, у тебя дьяки, писцы да подьячие, хоть простые люди, да честные, знающие! Будет польза великая Земле!

– Да, да... Я простым людям много больше верю, чем боярам. Особенно этим, – из старых, которые при батюшке крамолы заводили. Малого меня мучили. Молодых – тех я не столь опасуюсь. На них у меня – слово есть. Видел я, как они росли рядом со мной, из мальчишек, из безусых ребят моих верховых – людьми стали. Их я и в тюрьму могу, и на плаху... А вот старые – те царство мутят да величаются еще!.. Как же, иной лет шестьдесят только и делал, что землю губил, крамолы строил... А я ему теперь почет воздавай. Я, царь, – изволь его слушать. А уж эти дни скорби моей... Хворь моя и все, что было... Вот, владыко, знай, до чего

взметалась душа у меня. Ведь я думал... Я хотел... По тайности собирался с этим англичанином побеседовать. Не знаю, авось можно Михалыча допустить... А надо бы...

Иван умолк, словно не решаясь договорить.

Макарий хотя и видел смущение Ивана, но умышленно молчал, не желая даже осторожным образом вынуждать юношу к откровенности. Старик был уверен: раз Иван заговорил, он и закончит.

И правда. Решительно тряхнув головой, Иван снова начал:

– Вот что, владыка. Не трус я, как лают мои недруги. А так полагаю: ежели дал Господь мне веку – надо беречь, не укорочать его. И грех это, да и неразумно: дар Божий метать на перепутье. А как видел я недавно... и измену, и мятеж. Все страшное, позабытое было мною от дней моей юности. И сизнова опасаюсь: не замыслят ли бояре на меня и на род мой?.. На сына, на Митеньку...

– И! Что ты, государь?!

– Да, да! Пожди!.. Не перебивай меня, владыко... Дай сказать... Слышь, все... все, почти-тай, против меня, против Мити мово, против Настеньки встали. Даже... даже отец Сильвестр... И Алешка-холоп... Одна беда: лукавы оба! Позвал бы их к ответу... Да в чем укорить? Они с боярами открыто не стояли супротив меня. Вон и батька Алешин, пьянчуга, орал: «Мы-де царю и царевичу крест целуем, а Захарьины-Юрьевы нам не надобны... Не слуги мы им». Ну, не казнить же его за слова его глупые. Уж ведется оно так у чванных бояр долгобородых: про места да про чины тягаться. А того и помнить не хотят: один я у них царь и хозяин; а все они – холопы передо мной, все – равные. Грянуть бы теперь на них, как дед, как отец мой...

– О-ох, горяч ты, молод, чадо мое державное... Нешто время теперь? Ну, всех их перехватываешь... Ну, в темницы, в узах заключишь, головы снимешь... Кто землей править станет, помогать тебе? Один ведь не управишься?.. Так ли?..

– Так, так, знаю, что так!.. – нетерпеливо отозвался Иван. – Сам знаю... В том и спасение ихнее... Это одно... Никого бы иначе не пожалел, как они меня, царя своего, владыку, Богом данного, больного, – не жалели... Ну да придет мое время... Потешусь и я... Понаучился я и ждать, и помнить. Вот, будь свидетель, владыко...

И царь, словно собираясь дать клятву, поднял руку к иконам.

– Стой, пожди, государь!.. Вижу: хочешь не на доброе да на мирное клятву давать, а на злое... Так повремени, не в моем доме смиренном... Я слуга Божий... Мир творить, а не вражду множить я тоже клялся, когда вот в эту епитрахиль облачился, пастырский жезл взял, клобук надел первосвященнический... Так смири страсти свои, чадо... Говори о том, что раней начал и прости, смиренного, меня, коли что не по нутру тебе, государь, было молвлено. Говорю я, как Бог заповедал мне, епископу его и рабу недостойному, первому.

– Нет, ничего... Что же... – упрямо и негромко проговорил Иван. – Конечно, ты – греха боишься... По совести говоришь. А только что ж и мне-то делать? Неужто терпеть? Всю жизнь гнуть выю перед рабами, изменниками? Врагов лобызать? Принимать их лобызания Июдины?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.